



Дюк-волк
Невероятные истории о вервольфах

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCXLVIII



Salamandra P.V.V.

ГЮГ-ВОЛК

Невероятные истории
о вервольфах

Сост. и ред.
М. Фоменко

Salamandra P.V.V.

Гюг-Волк: Невероятные истории о вервольфах. Сост. и ред. М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 152 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCXLVIII).

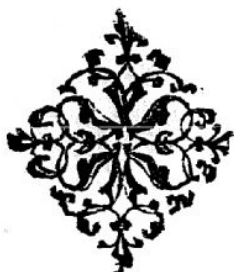
Вервольфы издавна завораживали и ужасали человеческое воображение. Но помимо созданий фольклора и фантазии существовали и реальные «вервольфы» наподобие чудовищных серийных убийц-ликантропов второй половины XVI в. Жюль Гарнье и Петера Штумпа (Штуббе). В книгу вошел оригинальный документ об осуждении Гарнье (1574), впервые переведенный на русский язык редчайший памфлет «Истинное Известие, описывающее ужасающую жизнь и смерть некоего Петера Штуббе» (1590), а также частично основанный на этих случаях рассказ современной американской писательницы Д. Э. Райх «Вервольфы Анспаха». Завершает издание повесть французского писательского дуэта Э. Эрмана и А. Шатриана «Гюг-Волк» (1859).

© J. E. Reich, рассказ, 2018
© Translators, переводы, 2018
© Salamandra P.V.V., оформление, 2018

*Извлечение из записей судебной
канцелярии Парламента Доля
(1574)*

ARREST

memorable de la Cour
de parlement de Dole, donné à l'encon-
tre de Gilles Garnier, Lyonnois, pour a-
voir en forme de loup garou deuoré plu-
sieurs enfans, & commis autres crimes:
enrichy d'aucuns points recueillis de
diuers auteurs pour esclarcir la matie-
re de telle transformation.



A L Y O N,
PAR BENOIST RIGAUD.

1 5 7 4.

Avec permission.

Ajouter la copie imprimée à Sens: & depuis à Paris
pour Pierre des-Hayes, avec Privilège.

В году тысяча пятьсот семьдесят третьем. В процессе участвовали мессир Анри Камю, доктор права, Советник господина нашего Короля в верховном Суде Парламента Доля* и генеральный прокурор при оном, истец и обвинитель по делу о смертоубийстве многочисленных детей и пожирании их плоти в облике волка-оборотня, равно как и других преступлений и нарушениях закона, с одной стороны, и Жиль Гарнье, уроженец Лиона, содержащийся под стражей в Тюрьме сего города, с другой стороны.

Упомянутый ответчик вскоре по истечении последнего праздника Св. Михаила, пребывая в облике волка-оборотня, схватил девочку в возрасте приблизительно десяти или двенадцати лет в винограднике близ леса Серр, в месте, именуемом Ущельем виноградника Шастенуа, в четверти лье от Доля. И там он лишил ее жизни и умертвил своими руками, напинавшими лапы, а также зубами. И, протащив ее указанными руками и зубами до самого леса Серр, там содрал с нее кожу и съел мясо с ее ляжек и рук, и не удовольствовавшись этим, отнес мясо своей жене Аполлине в скит Сен-Бонно неподалеку от Аманжа, где проживают он и его жена.

Далее, вышеуказанный ответчик, спустя восемь дней с последнего праздника Всех Святых, находясь подобно прежнему в облике волка, незадолго до полудня схватил другую девочку в той же местности, близ луга Рупп в окрестностях Отюма, расположенного между указанным Отюмом и Шастенуа и, задушив ее, нанес ей пять ран своими руками и зубами с намерением съесть, что помешали ему сделать три человека, в чем сам он многократно признавался и исповедовался.

Далее, вышеназванный ответчик примерно через пятнадцать дней после указанного праздника Всех Святых, будучи, как и прежде, в облике волка, схватил другого ребенка, мальчика в возрасте лет десяти, на расстоянии около лье от

* Коммуна в современном франц. департаменте Юра, бывшая столица региона Франш-Конте (*Здесь и далее прим. перев.*).

упомянутого Доля, между Гредизаном и Меноте, в одном из виноградников поименованного выше Гредизана, и, удушив его и умертив, как и прежних, съел мясо с ляжек, ног и живота вышеупомянутого ребенка и отделил ногу от его тела.

А также, вышеупомянутый ответчик в пятницу, перед последним днем Св. Варфоломея, схватил мальчика двенадцати или тринадцати лет под большим грушевым деревом близ леса у деревни Перруз, что у Кромари, и потащил его и поволок в указанный лес, где задушил так же, как и прочих детей, названных выше, с намерением съесть. Что он и сделал бы, если бы вскоре на помощь ребенку не подошли люди; однако ребенок был уже мертв, тогда как вышеуказанный ответчик пребывал в облике человека, а не волка. В каковом виде, не подоспей вышеупомянутая помощь, он съел бы плоть указанного мальчика, невзирая на то, что происходило это в пятницу*, как он неоднократно подтвердил в своем признании.

Вследствие уголовного процесса упомянутого генерального прокурора, а также ответов и повторных и добровольных признаний, сделанных вышеназванным ответчиком, данный Суд постановил, что сегодня же палач высшей юстиции провезет и протащит его на решетке задом наперед от вышеназванной тюрьмы до места казни, где тело его будет обращено в пепел, помимо чего он присуждается к оплате судебных издержек и расходов.

Приговор вынесен и объявлен в судебном порядке в вышеупомянутом Суде указанного Доля в восемнадцатый день месяца Января года тысяча пятьсот семьдесят третьего.

И затем в тот же день объявлен вышеназванному ответчику в указанной тюрьме в присутствии мессиров Клода Белена и Клода Мюзи, Советников вышеупомянутого Суда, Жаком Жанте, присяжным канцелярии оного.

* Т. е. традиционный католический день абстиненции, что делает поедание человеческого мяса еще более ужасным.

*Истинное Извѣстие,
описывающее ужасающую жизнь и
смерть некоего Петра Штуббе*

(1590)

A true Discourse.

Declaring the damnable life
and death of one Stubbe Peeter, a most
wicked Sorcerer, who in the likenes of a
*Woolfe, committed many murders, continuing this
diuelish practise 25. yeeres, killing and de-
nouring Men, Woomen, and
Children.*

*Who for the same fact was ta-
ken and executed the 31. of October
last past in the Towne of Bedbur
neer the Cittie of Collin
in Germany.*

Trulye translated out of the high Dutch,
accozding to the Copie printed in
Collin, brought ouer into England
by George Bores ordinary Poste, the
xi. daye of this present Moneth of
Iune 1590. who did both see and
heare the same.

AT LONDON

Printed for Edward Venge, and are to be
solde in Fleet-street at the signe of the
Vine.

Истинное Известие,

описывающее ужасающую жизнь
и смерть некоего Петра Штуббе,

самого богомерзкого из Колдунов, каковой в образе
Волка совершил множество смертоубийств, продолжая
сии дьявольские деяния на протяжении 25 лет, умерщвляя
и пожирая Мужчин, Женщин и Детей

И каковой за помянутые деяния

был взят под стражу и казнен 31 числа
минувшего Октября в Городке Бедбур,
что близ Города Коллина
в Германии.

Достоверно переведенное с юго-Германского языка
согласно отпечатанной в Коллине Копии,
привезенной в Англию в XII день настоящего
месяца Июня 1590 года
Геоффри Боресом, регулярным почтальоном,
каковой лично видел
и слышал сие.

В ЛОНДОНЕ,

Напечатано для Эдварда Венге и назначено
к продаже на Флит-стрит под вывеской
Виноградной Лозы.



Правдивое и истинное Известие,
описывающее жизнь и смерть некоего
Петера Штуббе, зловреднейшего Колдуна

Господь оставляет тех, кто отвергает Его благоволения, следуя темным Помыслам собственных сердец, и по причине их жестоковыйности и презрения к Его отеческому милосердию, неизбежно ждет их в конце концов прямой путь к адской преисподней и вечной гибели тела и души; нижеследующий рассказ может послужить наилучшим тому примером, необычайность коего, вкупе с содеянными жестокостями, свершавшимися на протяжении столь длительного времени, способна вызвать у многих сомнения, правдиво ли то или нет и не относится ли к различным лживым измышлениям, каковые ранее появлялись в печати и заронили в души людей немало семян неверия, вследствие чего в наши дни немногие вещи принимаются как достоверные и чаще объявляются ложью и вымыслом.

Приводимая история направлена, прежде всего, к исправлению нравов; я прошу терпеливо и внимательно ознакомиться с нею, ибо публикуется она в качестве назидания, и вынести о ней разумное и мудрое суждение, памятуя, к каким ухищрениям прибегает Сатана, дабы погубить душу, и о тяжких последствиях проклятых колдовских деяний, плода-

ми коих всегда были смерть и уничтожение; и однако, во все века нечестивцы и злодеи, поощряемые обещаниями Дьявола, занимались тем или иным родом колдовства. Но из всех их, когда-либо живших, ни один не может сравниться с сим сатанинским отродьем, чьи злодеяния и жестокости воистину доказывают, что он был подлинным сыном Дьявола; был он убийцей от рождения, и предлагаемый рассказ правдиво описывает его жизнь, смерть и кровожадные деяния.

В местечках Сперадт и Бедбур близ Коллина* в центральной Германии взрастал и воспитывался некий Петер Штуббе, каковой с юных годов был чрезвычайно склонен ко злу и с двенадцати лет от роду до двадцати, а также и далее, до самого дня своей смерти, отдавался богопротивным искусствам; не ведая пределов в отвратном Увлечении магией, некромантией и колдовством, сошелся он со многими адскими духами и демонами, вплоть до того, что позабыл о Господе, своем создателе, равно как и о крови, пролитой Спасителем во искупление рода человеческого. И наконец, отринув спасение, он навечно душой и телом предался Дьяволу ради сиюминутного ничтожного удовольствия прославиться и быть знаменитым на земле, хоть тем самым и утратил небеса.

Дьявол, каковой всегда прислушивается к непотребным молениям грешников, пообещал одарить его в смертной жизни всем, что только душа его пожелает; сей гнусный негодяй отвечивал, что богатства ему ни к чему, не мечтает он и возвыситься; не возжелал он и душевных или плотских наслаждений, но, обладая кровожадным сердцем и помышляя лишь о жестокостях и смертоубийстве, испросил возможности направлять свое зло на мужчин, Женщин и детей в образе какого-либо зверя, дабы не ведал он страха и не подвергал жизнь свою опасности и никто не заподозрил бы в нем виновника кровавых преступлений, каковые он намеревался совершить.

* Соответственно, Эппрат (деревня близ Бедбурга), собственно Бедбург и Кёльн.

Дьявол, узрев в сем отвратном изверге совершенное орудие вреда, обрадовался его желанию сеять зло и разрушение и подарил ему пояс; надев тот пояс, он мигом обретал вид хищного и прожорливого Волка, сильного и неутомимого, с огромными яркими глазами, сверкавшими в ночи, словно горящие угли, большой и широкой пастью с острейшими безжалостными клыками, громадным телом и могучими лапами. Но стоило ему сбросить пояс, как он снова в тот же миг возвращался в прежний человеческий облик, точно никогда и не становился волком.

Петер Штуббе был чрезвычайно доволен, ибо обличие Волка отвечало его мечтаниям и превосходным образом воплощало его кровожадную и жестокую натуру; к тому же сей необычайный дьявольский дар был не тяжел и не велик и мог быть спрятан в кладовой; начал он затем совершать различные чудовищные и непотребные убийства, ибо любовью, рассердивший его, вызывал в нем неутолимую жажду мщения, и как только тот или ближние его выходили в поля или в Город, он представлял перед ними в обличие Волка и не знал покоя, пока не прокусывал им горло и не разрывал их на клочки. Приобретя вкус к смертоубийству, он так наслаждался и восторгался пролитием крови, что днем и ночью бродил по Полям и чинил неопишуемые зверства. Часто выходил он в красивой одежде и с благопристойным видом на Улицы Коллина, Бедбура и Сперадта, жителям коих был хорошо известен, и не единожды, ничего не подозревая, приветствовали его те, чьих друзей и детей он растерзал. В тех местах он расхаживал взад и вперед и, заприметив Деву, Замужнюю Женщину или ребенка, что привлекали его взор и разжигали вожделение в его сердце, принимался ждать, покуда те не покидали Город или деревню. И, застав их в одиночестве, он набрасывался на них в полях в своем Волчьем обличие и жестоко их умирщвлял.

Нередко, скитаясь в полях, случалось ему набредать на девиц, играющих вместе или доящих Коров, и тогда в обличии Волка он незамедлительно вторгался в их круг, и в то время, как прочие бежали, он непременно хватал одну из них и, утолив свою мерзкую похоть, тотчас ее убивал. И ежели нра-

вилась или была известна ему одна из них и он ранее положил на нее глаз, ее-то он и преследовал и отделял от прочих, будь она впереди или позади их, ибо в образе Волка обладал такой быстротой бега, что мог обогнать и самую легконогую гончую тех Земель; и столь многочисленны были его злодейства, что вся Провинция страшилась жестокости того кровожадного и свирепого Волка.

Так, продолжая в течение нескольких лет свои дьявольские и отвратные деяния, он лишил жизни тринадцать малых Детей и двух женщин, тяжелых Младенцами, причем самым кровожадным и диким образом вырвал Младенцев из их утробы и затем сожрал сырыми их трепещущие сердца, кои считал изысканным лакомством и наилучшей услугой своего Аппетита.

Более того, он часто убивал Ягнят, Козлят и тому подобных животных и обыкновенно пожирал сырым их кровоточащее мясо, словно и впрямь был настоящим Волком; и люди испытывали ужас при виде сего дьявольского Колдовства.

В то время с ним жила Дочь, пригожая молодая Девица, к коей он питал самую противоестественную страсть; и в зверстве своем он совершил с нею гнуснейшее кровосмешение, самый отвратительный и позорный грех, далеко превосходящий Прелюбодеяние либо Блудодейство; однако и наименьший из сих грехов ввергает душу в адское пламя, ежели только грешник не раскается в сердце своем и Господь не проявит к нему великое милосердие. Дочь ту он зачал, когда еще не предался всецело злу; называли ее Белл Штуббе*, и все вокруг восхваляли ее красоту и добрый нрав. И так велика была его неподобающая похоть и грязная страсть к ней, что он каждодневно пользовался ею как Наложницей и зачал от нее Ребенка; но, будучи ненасытным и мерзким зверем, преданным злу, он также, в утеху своей жадности и испорченности, на протяжении долгого времени нередко возлежал с собственной Сестрой.

* Stubbe Beell. Вероятно, производное от «Сибилла» либо *belle*, т. е. «красавица Штуббе».

Более того, будучи приглашен как-то к Куме*, где гости веселились на празднестве, он отправился туда и стал увлекать ту женщину своими учтивыми и льстивыми речами и так в сем преуспел, что, прежде чем покинул дом, возлег с нею и с тех пор мог всегда наслаждаться ее обществом. Куму его звали Катарина Тромпин; была она статна, красива, отличалась добрым характером и пользовалась уважением всех соседей. Но развратная и непристойная похоть Петера Штуббе не способна была удовольствоваться обществом столь многочисленных Любовниц, как не довольствовалось его гнусное воображение красотой любой из женщин, и наконец Дьявол прислал ему злого духа в образе и подобии женщины, такой прекрасной лицом и нравом, что напоминала она скорее небесную Фею, нежели смертное создание, настолько превосходила она красотой наилучших из женщин; и с нею, радуясь сердцем, он прожил семь лет, но в конце концов была та женщина разоблачена и оказалась не кем иным, как дьяволицей.

И тем не менее, сей мерзкий грех распутства ничуть не утихомирил его жестокую и кровожадную душу, и он продолжал вести жизнь ненасытного кровопийцы, столь наслаждаясь ею, что не радовался ни дню, проведенному без кровопролития; и не столько выбирал он, кого убивать, сколько думал о том, как умертвить и уничтожить несчастных, свидетельством чему служит нижеследующее обстоятельство, особенно подчеркивающее его жестокость и кровожадность. Ибо, имея прекрасного сына, зачатого в самом расцвете лет, первого своего отпрыска, он так гордился им, что называл усладой своего Сердца; и однако, наслаждение смерубийством затмило его любовь к Сыну; он возжаждал сыновьей крови и заманил юношу в поля, а затем и в близлежащий Лес, где уединился, объяснив это естественной надобностью; юноша пошел вперед, Штуббе же в образе и подобии Волка внезапно набросился на Сына и безжалостно его растерзал; совершив это, он сожрал мозг из головы Сына,

* В тексте «Gossip», букв. «крестная»; однако Катарина Тромпин по возрасту едва ли могла быть «крестной» Штуббе.

точно самое приятное и изысканное лакомство, удовлетворив тем самым свою прожорливость; то было самое чудовищное деяние, о каком когда-либо слышал человек, ибо никогда еще природа не рождала подобного выродка.

Долго продолжал он вести свою гнусную и преступную жизнь, порой принимая облик Волка, порой оставаясь в облики человека; то бывал он в Деревнях и Городах, то бродил по Лесам и прилегающим зарослям. Здесь, как упоминается в германском издании, повстречал он однажды двух мужчин и одну женщину и преисполнился желанием их умертвить; страшась, что они одолеют его и зная имя одного из путников, Штуббе решил осуществить свое дьявольское намерение и погубить их следующим способом. Он, будто случайно, показался им издалека и после ловко спрятался, исчезнув из виду; но едва они подошли к месту, где он залег, как он позвал одного из них по имени. Последний, услышав, что его раз или два позвали по имени, рассудил, что кто-то из друзей решил сыграть с ним шутку и спрятался; желая узнать, кто это был, он направился туда, откуда раздавался голос, но не успел приблизиться к превратившемуся в Волка Штуббе, как был умерщвлен на месте; спутники же ожидали его возвращения. Второй мужчина, найдя его отсутствие чересчур долгим, покинул женщину и отправился на поиски, после чего также был убит. Видя, что оба не возвращаются, женщина заподозрила, что их постигло несчастье, и попыталась спастись бегством, но ничто не помогло, ибо эту добрую душу вскоре догнал быстроногий Волк, каковой сперва обесчестил, а затем жестоко умертвил ее. Растерзанные тела мужчин впоследствии нашли в лесу, однако тело женщины исчезло, ибо презренный грешник сожрал ее самым прожорливым образом, найдя ее плоть нежной и лакомой на вкус.

Сей проклятый Петер Штуббе прожил так двадцать пять лет, и никто не подозревал в нем Виновника стольких жестоких и противоестественных убийств; за это время он уничтожил и умерщвил невесть сколько Мужчин, Женщин и Детей, а также овец, Ягнят, Коз и прочего Скота; ибо, когда люди проявляли осторожность и ему не удавалось подсте-

речь мужчину, Женщину или Ребенка, он, подобно хищному и кровожадному зверю, яростно набрасывался на животных, выказывая неслыханную злобность и жестокость, в истинности коих, впрочем, довелось удостовериться жителям тех земель Германии.

Обитателей Коллина, Бедбура и Сперадта, как сказано, без устали губил, угнетал и преследовал сей прожорливый и безжалостный Волк, постоянно чинивший вред и зло; многие осмеливались путешествовать без защиты меж городами и деревнями, страшась быть сожранными тем ненасытным диким Волком, ибо жители, к своей великой печали и горести, часто находили разбросанные в полях Руки и ноги Мужчин, Женщин и Детей, умерщвленных жестоким и необычайным Волком, коего они не могли ни поймать, ни одолеть; и если у кого-либо из мужчин и женщин пропадал Ребенок, они и не чаяли увидеть дитя живым, тотчас предполагая, что его разорвал Волк.

И здесь следует поведать об одном необыкновенном происшествии, каковое служит примером великого могущества и милосердного провидения Господня в отношении всех добросердечных Христиан. Не так давно на Лугу у самого города играли маленькие Дети; там же паслись коровы, и к сосцам многих коров приникли телята. Неожиданно в круг тех Детей ворвался мерзкий Волк, схватив за ворот одну маленькую Девочку и пытаясь добраться до ее горла; однако Господь пожелал, чтобы Волк не смог прокусить высокий и плотный воротник ее одежды, крепко стянутый вокруг шеи; остальные дети разбежались с внезапными громкими криками, чем потревожили пасшийся неподалеку скот; коровы, страшась потерять своих телят, сбились вместе и с такой яростью ринулись на Волка, что тот принужден был выпустить свою добычу и бежать от их острых рогов; Девочка же тем самым избежала смерти и, слава Богу, жива и до сих пор.

Истинность сего происшествия может засвидетельствовать мастер Тайс Артин, Пивовар, проживающий у Паддлварфа в Лондоне, уроженец тех Мест и человек, пользующийся доброй славой и репутацией; будучи близким Родичем той девочки, он дважды получал Письма с рассказом о слу-

чившемся; и поскольку первое Письмо заставило его скорее сомневаться, нежели поверить, он по собственной просьбе вскоре получил второе письмо, развеявшее его сомнения; равно и различные другие лица, пользующиеся большим доверием в Лондоне, получили от друзей письма, повествующие о том случае.

В указанных же городах Германии непрестанно возносили молитвы к Господу, дабы он смиростивился и избавил жителей от бедствий, чинимых прожорливым Волком.

Но хоть и испробовали они все, что было в человеческих силах, пытаясь изловить алчного зверя, никак им то не удавалось, пока Господь не предрешил его падение; и однако, невзирая на то, они каждодневно пытались поймать волка и держали больших мастифов и других сильных Собак, способных его выследить и одолеть. И наконец, когда были они готовы ко встрече с ним, Господь позволил им заметить зверя в волчьем обликии, причем они осадили его со всех сторон, какового преимущества им ранее никогда не удавалось достичь, и предусмотрительно спустили на него Собак; таким образом, бежать Волку было некуда и он, словно Голиаф, преданный Господом в руки Давида, очутился в западне; понимая, что спастись невозможно и будучи преследуем по пятам, он спешно сбросил с себя пояс, мигом утратив волчий облик, и предстал в своем подлинном обликии, причем держал в руке посох, как будто направлялся в Город. Охотники, не отрывавшие глаз от зверя и увидевшие его неожиданное превращение, немало изумились; не узнай они тогда же Штуббе, они непременно подумали бы, что то был некий Демон в образе человека; узнав в нем давнего жителя Городка, они подошли и заговорили с ним и так, разговаривая, дошли с ним до его дома; убедившись же, что перед ними человек, а не фантастическое видение или призрак, они без промедления доставили его к Магистратам для допроса.

Будучи таким образом пойман, он был помещен на дыбу в Городе Бедбуре, однако, страшась пытки, он по доброй воле рассказал обо всей своей жизни и сообщил о злодействах, совершенных на протяжении XXV лет; он также при-

знался, что путем колдовства заполучил от Дьявола Пояс, каковой при надевании превращал его в Волка; по его признанию, встретив охотников, он забросил тот Пояс в некий Овраг, где и оставил. Услышав это, Магистраты велели разыскать пояс в Овраге, однако ничего найдено не было, и предположили, что Дьявол забрал свой дар и потому он не был найден. Ибо Дьявол, навлекший позор на негодного грешника, оставил его и обрек на мучения, каковые тот заслужил своими деяниями.

После того, как Штуббе посадили под замок, магистраты по должном рассмотрении дела нашли, что его дочь Белл Штуббе и Кума Катарина Тромпин были соучастницами различных совершенных смертоубийств; и потому, а также по причине их в остальном распутной жизни, обе были взяты под стражу, и по осуждении Петера Штуббе приговоры им были вынесены 28 дня Октября 1589 года, а именно: Петера Штуббе, как главного злоумышленника, сперва колесовать и раскаленными докрасна щипцами в десяти местах сорвать его плоть с костей, после того переломить его Руки и ноги деревянным Молотом или Тесаком, затем отсечь его голову от тела и далее сжечь его труп Дотла.

Его Дочь и Куму также постановили сжечь Дотла в тот же день и час, что и останки вышеупомянутого Петера Штуббе. И 31 числа того же месяца они встретили указанную смерть в городке Бедбур в присутствии многих дворян и князей Германии.

Итак, Любезный Читатель, я изложил истинную историю злодея Петера Штуббе, призванную служить предостережением всем Колдунам и Ведьмам, каковые противозаконно следуют своему дьявольскому воображению, навлекая на себя полнейшее растление и вечную погибель души; молю Господа уберечь всех добрых людей от сих нечестивых и проклятых колдовских занятий и жестоких помыслов порочных сердец. Аминь.

После казни, по решению Магистратов города Бедбура, воздвигнут был высокий столб, окруженный прочной оградой; столб проходил через укрепленное на нем колесо, на каковом негодяй был колесован; немного повыше Колеса



было установлено вырезанное из дерева изображение Волка, дабы все знали, в каком облике совершил он свои злодеяния. Еще выше, на верхушку столба, водрузили голову самого колдуна, а вокруг Колеса висели шестнадцать обрубков дерева длиной приблизительно в ярд, представлявших шестнадцать человек, каковых, насколько достоверно было известно, он умертвил. И распорядились, чтобы столб сей стоял там как постоянное напоминание последующим поколениям о свершенных Петером Штуббе смертоубийствах и Суде над ним, как яснее показывает приложенная картинка.

Свидетели истинности изложенного:

Тайс Артин*
Уильям Брюар
Адольф Штадт
Георг Борес

и различные другие лица, видевшие сие.

* Tyse Artyne. Выше в тексте — Tice Artine.

Д. Д. Райс

Вервольфы Ансаса

Waarhaftige Begebenheit!
 Mit einem Verbannten Wolff, welcher im 16^{ten} Jahr im
 Marggrafthum Onoltzbach etliche Kinder weggetragen und ge-
 freßen, lazlich den 3^{ten} Octobris in einen brünen Zu Nußes bei Eschen-
 bach gefangen, indertödtet; so dann diefer figur nach, aufgehangen worden.



Когда мы пошли смотреть на казнь вервольфа, он уже ослабел и задыхался с веревкой на шее.

Его поймали в личине волка — он отказался вернуться в человеческий облик, показать свое лицо — и таким он и умрет. Однако новый бургомистр предусмотрел невиданную тонкость: присобранные панталоны на задних лапах, над этими обмякшими лапами вышитый камзол, к пушистой нижней челюсти прицеплена борода из завитых стружек. Одет он как старый бургомистр, которого новый презирает.

Мы пробираемся мимо наших беленых известкой домов и жалкой мякоти пожелтевших капустных листьев, вытягиваем головы, стараясь получше рассмотреть привязанного к столбу виселицы вервольфа. Я хватаюсь за пояс отца, но он, как лезвием топора, бьет меня ребром ладони по косточкам пальцев. *Не в твоём возрасте* — хотя он молчит.

Толпа придвигается ближе, и над гребнем плеч я вижу вервольфа, вижу ужас. Я никогда прежде не видал волка, но понимаю, что этот, учитывая его чудовищность, должен быть больше других. Одежда уменьшает огромное туловище. Интересно, если я его поглажу, наклонит ли он голову в знак приветствия? Его замершее тело редко-редко вздрагивает, но глаза мечутся в черепе, взад и вперед, взад и вперед, туда и сюда, как затухающие светлячки. Словно ищут в толпе знакомые губы.

* * *

Мой отец, мясник, устроил в лавке прием, собирая все слухи о Вервольфе из Анспаха, пока выламывал кровоточащие говяжьи ребра. И пока я ошипывал дряблых цыплят и вымачивал их в рассоле, покупатели, приходившие в отцовскую лавку — в основном соседские жены, иногда слуги какого-нибудь богатого серебром купца или прислуга самого бургомистра — рассказывали любопытные подробности. Отец скупно выдавал их другим, просившим его поведать детали, поделиться мыслями, и делал это с порочной важностью ари-

стократического бургграфа, дарующего подданным надежду на понижение земельных налогов.

Вот что нам было известно: зверь питал пристрастие к печени и вырывал лакомые куски из подбрюшья скотины жестокой хваткой длинных зубов — ибо вервольфы превыше всего ценят печень. Фолькер-скорняк, пробираясь по лесу, видел, как какой-то человек надевал пояс из невыделанной волчьей шкуры, скрипевший от засохшей крови; и как только тот получеловек, полузверь обернул вокруг себя или застегнул, уж не знаю, свой пояс, как опустился на четвереньки и из горла его вырвался вой. Но Польди, охотник на кротов, сказал: чепуха, Фолькер видит хуже одноглазого выпивохи, а сам он, Польди, тоже встречал зверя, но не пояс тот надел, а цельную одежду из шкуры, плащ человека, позволившего зверству поглотить себя целиком. А Ханнес, среди прочего воровавший яйца, вытаращил бесстыжие глаза и сказал, что оба они ошибаются. Он также однажды ночью видел зверя. Тот напился дождевой воды из следа на земле и после заснул, и свет лунного серпа плясал на его лице, а затем он начал потягиваться, выгибаться и меняться. Ханнес, было дело, тогда решил, что это всего-навсего отшельник.

Ни один из них не рассказал, как спасался от оборотня.

Но как вы могли так ясно все разглядеть, если на дворе стояла ночь? спросил я.

Отец вырвал нить хряща из корсета ребер и рассмеялся хриплым лающим смехом. *Да ты вылез на свет из задницы, не иначе. Кто позволил тебе говорить? Возвращайся к работе и прекрати задавать вопросы, не то спущу с тебя всю шкуру, как с этой коровы.* Он зажал в кулаке толстый полумесяц мяса, отдирая ногтями витки мускулов, и потряс им перед моим лицом. *Руди, мой придурковатый сынок.* Когда он положил кусок на прилавок и повернулся к покупателям, его мозолистая ладонь была такой, какой всегда мне представляется. Она была покрыта кровью.

* * *

Палач ест вдоволь и вечно молчит: всем палачам щедро платят и потому их проклинаят. Он носит черное платье и обвисший шелковый берет в тон (свисающий край скрывает его лицо); красная метка на одежде обозначает его ремесло. Непонятно, впервые ли ему доводится казнить вервольфа — воры, убийцы и мошенники идут по серебряной марке за дюжину, да и в рыдающей, молящей о пощаде ведьме нет ничего нового — но вервольфы попадают крайне редко, по крайней мере в Анспахе. Мы невольно гадаем, не мечтал ли палач долгие годы об этом благословенном дне и не боялся ли, что этот день, подобно другим, окажется самым обычным.

Хотя вервольф привязан к столбу, виселица не нужна. Бургомистр постановил: дабы избежать воскресения в каком бы то ни было виде, каждую конечность зверя привяжут к лошади; затем лошадей погонят в четыре стороны, и вервольф будет разорван на части, после чего палач перевяжет отдельные части тела, за исключением отсеченной топором головы, веревкой, перевитой стеблями волчьего аконита, и сбросит их в открытую яму, сверху же набросает валуны и землю, окропленную святой водой. Мы в нашем городе рисковать не любим.

А бородатую голову насадят на пику, и там она и будет оставаться, пока окончательно не сгниет и больше не сможет на нас смотреть.

* * *

Оборотня начали искать лишь после того, как он стал приходить за детьми.

Они исчезали с убранных полей ячменя и сахарной свеклы, из коровников, с рыночной площади в сумерках. В общей сложности четырнадцать детей, пока вервольф не был пойман — четырнадцать.

Я знал некоторых из детей; мы играли в мяч, в кольца, в шары — на краю леса, там, где чаща редела и переходила в луга. *Будь осторожен*, сказала бы мне мать, если бы не умерла и отец не заставил меня работать в лавке. Фридрих, Амброс, Герте, Эрнст, Лотте, Аня, Дольф. Мы хлопали в ладоши, пинали деревья и царапали локти и ладони, наблюдая, как кровь течет из родников под кожей. Люди нашли части их тел. Косы Герте были сорваны с головы вместе со скальпом. Ханнес, похититель яиц и, среди прочего, пьяница, нашел правую руку Дольфа под кустом терновника — перед тем, как вервольф схватил его во время игры в прятки, он сидел там и грыз ногти, затаившись и весь дрожа от нетерпения.

В магазине отец точил ножи на смазанном масле точильном камне, и звук напомнил мне о довольном рычании, с каким человек скалит зубы, получив наконец то, что хочет.

* * *

Все мы в Анспахе склонны забывать, что у палача есть имя. Под тенью обвисшего берета, которая прячет его стыд, его близость к мертвым, скрывается лицо, что ни один из нас не может припомнить, высветить в памяти, даже если мы вдруг задумаемся об этом. Но имя у него *есть*, как и у каждого из нас. Его зовут Петер. Петер-палач.

Петер-палач, по слухам, когда-то был студентом-медиком — он покинул наш городок, чтобы сменить топор на скальпель и шивать, а не разрезать плоть — но вскоре выяснилось, что он был последним в длинной линии предков, дедов и отцов, чьим ремеслом был меч, и затягивающаяся петля, и рассеченная шея. И потому он был отозван со студенческой скамьи в Гамбурге и возвращен в наш бессмертный городок, где звери и чудовища какое-то время не боялись смерти.

Питера боялись и презирали, но он был единственным, кто отважился прикоснуться к коже моей матери; он мочил тряпки в медном тазу и протирал ее вздутые пустулы и на-

брякшие железы, покрытые темными гниlostными пятнами заразы. Это было уже после того, как священник пришел и ушел, бормоча что-то на языке, который никто из нас не понимал, после того, как друзья и соседи столпились у окон, дабы отдать последнюю дань или просто посмотреть, как душа будет слабеть и покидать тело; мать умирала дольше, чем ожидалось, и они ушли, когда зрелище грубого искусства смерти им наскучило.

И лишь когда мы остались одни — мать лежала в постели, отец сидел в углу, вычищая чешуйки крови из-под ногтя большого пальца острием материнской оловянной спицы, я всем телом обнимал стойку кровати, изо всех сил прижимаясь лбом к шершавому дереву — лишь тогда Питер пришел к нам в своем широком плаще цвета угаснувшей жизни. Единственный, кто осмелился прикоснуться ладонью.

* * *

Толпа начинает перешептываться и колыхаться; сперва прибывает епископ, лицо у него торжественное и отстраненное, за ним бургомистр с двумя стражниками по бокам. Но появление высокопоставленных лиц не прерывает наши пересуды, мы только понижаем голоса до шепота. Мы обмениваемся слухами, как на рынке меняют монеты на фрукты, мы обсуждаем других оборотней. Мы ведь не исключение, несмотря на всю эту шумиху — и другим городам досаждают вервольфы.

Жена мельника, Майнхильда, рассказывает о деревушке Виттлих: там есть свеча, которая гаснет, если рядом оказывается вервольф. Тут-то крестьяне понимают, что в деревне что-то неладное творится.

Ханнес, похититель яиц, пьяница и, среди прочего, любитель подсматривать за женщинами, рассказывает в свою очередь, что в Любце сумели выяснить, кто из горожан был чудовищем. И вот как они это сделали: выстроили всех жителей, мужчин, женщин и детей, и бросили перед каждым

кусок железа. Зверь не смог удержаться от превращения и прямо у них на глазах стал обрастать шерстью. Он убежал в ночь, и больше его не видели.

В другом городе девушка, которая вступила в нечестивые отношения со своим отцом-оборотнем, была сожжена на костре, но прежде видела, как с него заживо сдирали кожу и как его терзали раскаленными щипцами. *Дабы избавиться от зла, необходимо срубить ствол, отсечь все ветви и выкорчевать корни*, заявил бургомистр того города.

Мы не ведаем, почему эти истории так разнятся, почему одни вервольфы проявляют себя иначе, чем другие. Мы не знаем, что и как движет ими: каждый из них — будто отдельные часы с кукушкой и собственным, вручную выделанным и отлаженным механизмом. Нам известно лишь то, что они творят, и у нас нет объяснений. Мы боимся, и поэтому мы верим.

* * *

Отец держит ножи под соломенным тюфяком, на котором мы спим. Мы приносим из лавки в заднюю комнату ребра ягнят и нежные бледные копытца телят, и отец разделяет их на куски, готовя ужин. Едкий запах крови следует за нами повсюду, как призрак покинутого ребенка.

После еды отец кладет ножи в кожаный футляр. Лезвия их блестят, как зеркало недвижной воды. Когда он ложится на тюфяк рядом со мной, ножи лежат под его бьющимся сердцем. Тогда, и только тогда, он приступает к своему еженощному ритуалу, проводя пальцами по моей спине от позвоночника к позвонку.

* * *

Стражник устанавливает у помоста, примыкающего к виселице, деревянный ящик, и наш бургомистр поднимается на сцену. Его слова тонут в шуме толпы, вновь охваченной жадной мести. Отец сжимает и разжимает кулаки. Лишь я продолжаю смотреть на оборотня, пока бургомистр провозглашает свой указ, даруя всем нам смерть. На вервольфа, чей взгляд затуманен судьбой.

Только сейчас я осознаю, что никто, ни один из нас в Анспахе, не знает, мужчина ли оборотень, женщина или даже ребенок. Никто не видел, как его шерсть втягивается под кожу, как лапы превращаются в руки и пальцы, как позвоночник, похрустывая, становится хрупким подобием себя. И если оборотень по временам был мужчиной, женщиной или ребенком, вдохнет ли кто-либо о них в этой толпе?

* * *

Отец взял меня с собой на поиски в ту ночь, когда мы мы нашли то, что осталось от Ани, последнего похищенного ребенка. Несмотря на факелы, в испещренной черными тенями лесной чаще фигуры казались смутными и размытыми, и невозможно было понять, где были мы и где начиналась ночь. Я думал о шерсти, прорывающейся наружу из тех средоточий, что сильнее мяса и мышц, о потемневшей, блестящей под луной шкуре.

Мы углублялись все дальше в лес. Я держался за пояс отца. Другие звали Аню по имени, но мы молчали. Мы искали что-то иное.

Я спотыкался о торчащие из земли корни. Отец, хорошо знавший лес, ступал уверенно и не останавливался.

Это мы нашли ее на поляне. Горло Ани было рассечено, внутри виднелось красное, юбка была задрана на живот. Я повернулся к отцу. Он глядел на то, что осталось от Ани.

Он поднял факел, глаза отразили яркий свет.

Но в них было что-то еще. Взгляд человека, потрясенного вожделением. Или любовью к своему перерождению. Мяслик, восхищенный своей работой.

Я ждал. Зов, обращенный к другим, бился у меня в горле, и я не был готов к тому, что последовало.

* * *

Палач обвязывает веревку вокруг каждой из вялых, бесполезных лодыжек оборотня. К виселице уже подвели четырех лошадей, двух вороных и двух белых, и стражники бургомистра расчистили в толпе четыре тропы, по которым каждая из лошадей поскачет, таща за собой ошметок тела вервольфа.

Но прежде, чем это произойдет и толпа дрогнет и взметнется, когда станут рваться мышцы и хлынет кровь, прежде, чем топор опустится на шею оборотня и лошадей погонят плетью на север, юг, запад и восток, прежде, чем вервольфы Анспаха будут забыты и оборотень будет разорван на куски, вот что скажет ему смерть: *Сперва ты, после весь мир.*

Эрхман-Шатриан

Тюг-Волк

Илл. Э. Байяра

Однажды утром, перед Рождеством 18... года, когда я спокойно спал в гостинице «Лебедь» в Фрейбурге, в мою комнату вошел старый Геден Спервер.

— Радуйся, Фриц! — воскликнул он. — Я свезу тебя за десять миль отсюда, в замок Нидек. Ты знаешь Нидек? Это самое лучшее поместье во всей местности, — старинный памятник славы наших предков.

Заметьте то, что я не видел Спервера, почтенного мужа моей кормилицы, шестнадцать лет. За это время он оброс бородой; громадная шапка из лисьего меха закрывала его голову; в руке у него был фонарь, который он держал под самым моим носом.

— Прежде всего, поступим методично, — сказал я. — Кто вы такой?

— Кто я?.. Как, ты не узнал Гедена Спервера, браконьера из Шварцвальда?.. О, неблагодарный!.. А я-то кормил, воспитывал тебя, научил тебя ставить западни, подстерегать лисицу в уголку леса, пускать собак по следу косули... Неблагодарный, он не узнает меня! Ну, взгляни на мое отмороженное левое ухо.

— Ага! Узнаю твое левое ухо. Ну, поцелуемся.

Мы нежно расцеловались. Спервер отер глаза ладонью и сказал:

— Ты знаешь Нидек?

— Конечно... по рассказам... Что ты делаешь там?

— Я заведующий охотой графа.

— А кто прислал тебя?

— Молодая графиня Одиль.

— Хорошо... Когда же мы отправимся?

— Сейчас. Дело важное, старый граф болен и его дочь наказала мне не терять ни минуты... Лошади готовы.

— Но, мой милый Геден, посмотри, какая погода; вот уже третий день снег идет безостановочно.

— Ба! Ба! Представь себе, что отправляешься на охоту. Одевайся-ка поскорее; надень шпоры и в путь-дорогу! Я ве-

лю пока приготовить поесть.

Он вышел из комнаты, но сейчас же вернулся и прибавил:

— Не забудь накинуть шубу.

Он спустился вниз.

Я никогда не мог противиться Гедеону; с детства он мог поделать со мной что угодно кивком головы, пожатием плеч. Я быстро оделся и пошел за ним в большую залу.

— Я знал, что ты непустишь меня одного! — радостно проговорил он. — Съешь поскорее ветчины и выпьем на дорожку. Лошади теряют терпение. Да, между прочим, я велел привязать твой чемодан к седлу.

— Как, мой чемодан?

— Да, ты ничего не проиграешь; тебе придется остаться в замке на несколько дней; это необходимо; сейчас я объясню тебе все.

В эту минуту к гостинице подъезжали двое всадников, по-видимому, изнемогавших от усталости. Лошади их были покрыты белой пеной. Спервер, большой любитель лошадей, вскрикнул от удивления.

— Что за чудесные животные!.. Валахские... Что за стройность, настоящие олени. Скорее, Никлоз, набрось на них попоны; они могут простудиться.

Мы заносили ноги в стремяна, когда мимо нас прошли путешественники, укутанные в меховую одежду. Я разглядел только длинные темные усы одного из них и его черные, необыкновенно живые глаза.

Они вошли в гостиницу.

Конюх держал наших лошадей; он пожелал нам доброго пути и отпустил повода.

Мы тронулись.

Спервер ехал на лошади чистокровной мекленбургской породы, я — на горячей арденнской лошадке; мы летели по снегу и через десять минут уже миновали последние дома Фрейбурга.

Погода прояснилась. Насколько охватывал взгляд, не видно было ни признака дороги или тропинки. Единственными нашими спутниками были шварцвальдские вороны. Они

расправляли свои большие крылья на снежных буграх, перелетали с места на место и кричали хриплыми голосами:

— Беда! Беда! Беда!

Геден со своим широким, обветренным лицом, в шубе из меха дикой кошки, в меховой шапке с длинными наушниками, галопировал впереди меня, насвистывая какой-то мотив из Фрейшюца. По временам он оборачивался и я видел, как прозрачная капля воды блестела, дрожа, на кончике его длинного, кривого носа.

— Э, Фриц! Что за чудное зимнее утро! — сказал он.

— Да; но несколько холодное.

— Я люблю сухую погоду; она оживляет кровь. Если бы у старого пастора Тоби хватило смелости отправиться в путь по такой погоде, он не чувствовал бы ревматизма.

Я слегка улыбнулся.

После часа бешеной езды Спервер сдержал лошадь и поехал рядом со мной.

— Фриц, — сказал он более серьезным тоном, — тебе необходимо узнать причину нашей поездки.

— Я думал об этом.

— Тем более, что у графа перебывало уже много докторов.

— А!

— Да; приезжали к нам доктора из Берлина в больших париках; они смотрели только язык; другие — из Швейцарии — желали видеть только мочу; парижские доктора вставляли кусочек стекла в глаз, чтобы разглядеть лицо больного. Но все они ничего не поняли и только заставили щедро оплатить свое невежество.

— Черт возьми! Как ты относишься к нам!

— Я говорю не про тебя; напротив, тебя я уважаю и, пожалуй я себе ногу, я охотнее доверился бы тебе, чем какому-нибудь другому доктору. Ну, а что касается внутренностей, то вы еще не изобрели очков, чтобы видеть, что происходит в них.

— Ты почему знаешь?

Добрый искоса взглянул на меня при этих словах.

«Неужели и он такой же шарлатан, как другие?» — подумал он, однако продолжал начатый разговор.

— Если у тебя есть такие очки, Фриц, то они пригодятся как раз, потому что болезнь графа именно внутренняя. Болезнь ужасная — нечто вроде бешенства. Ты ведь знаешь, что бешенство обнаруживается по истечении девяти часов, девяти дней, или девяти недель?

— Говорят; но я сомневаюсь, так как сам не видал.

— Ну, но крайней мере, ты знаешь, что есть болотные лихорадки, которые повторяются через три года, через шесть или девять лет. Наш механизм чрезвычайно сложен. Когда эти проклятые часы заведены известным образом, лихорадка, колики или зубная боль появляются в назначенный час.

— Это правда, мой бедный Гедеон, и эти периодические болезни составляют мое отчаяние.

— Тем хуже!.. Болезнь графа периодична; она возвращается каждый год, в один и тот же день и час; рот у него наполняется пеной; глаза становятся белыми, словно шарики из слоновой кости; он дрожит с головы до ног и скрежещет зубами.

— У этого человека, должно быть, большое горе?

— Нет! Он был бы счастливейшим человеком на свете, если бы его дочь вышла замуж. Он могуществен, богат, осыпан почестями. У него есть все, чего желают другие. К несчастью, его дочь отказывает женихам. Она хочет посвятить себя Богу и его огорчает мысль, что древний род Нидеков должен угаснуть.

— Как обнаружилась его болезнь?

— Внезапно, лет десять тому назад

Старик, казалось, старался припомнить что-то; он вынул из жилета трубку, медленно набил ее и закурил.

— Однажды вечером, — сказал он, — я был наедине с графом в фехтовальной зале замка. Рождество было близко. Мы целый день охотились на кабана в узких проходах долины Рее и возвратились домой, когда наступила ночь, привезя с собой двух бедных собак, растерзанных с головы до ног. Погода была такая же, как теперь: холодная и снежная. Граф расхаживал взад и вперед по комнатам, опустив

голову и заложив руку за спину с видом человека, погруженного в глубокое раздумье. По временам он останавливался и взглядывал на высокие окна, занесенные снегом. Я грелся у камина, думая о своих собаках, и мысленно проклинал всех кабанов Шварцвальда. В замке все уже легли спать часа два назад; раздавался только шум больших сапог графа со шпорами на каменном полу. Я ясно помню, как какая-то ворона, должно быть, загнанная ветром, с жалобным криком ударилась крыльями о стекло окна, сбив глыбу снега за ним; окна, перед тем белые, стали черными...

— Эти подробности имеют какое-нибудь отношение к болезни твоего господина?

— Дай мне окончить... увидишь. При этом крике граф остановился с неподвижным взглядом, побледневшими щеками, с головой, наклоненной вперед, как охотник, почуявший зверя. Я продолжал греться, раздумывая, скоро ли он ляжет спать. Сказать по правде, я падал от усталости. Я так и вижу все это, Фриц!.. Как только ворона испустила свой крик, старые часы пробили одиннадцать. В то же мгновение граф поворачивается... прислушивается... губы его движутся; я вижу, что он шатается, как пьяный. Он протягивает руки; челюсти его сжаты, глаза побелели. Я кричу: «Что с вами, ваше сиятельство?!» Он хохочет, как сумасшедший, шатается и падает лицом на каменный пол. Я зову на помощь; прибегают слуги. Себальт берет графа за ноги, я за плечи; мы относим его на кровать, стоящую у окна. Я только что хотел перерезать ему галстук охотничьим ножом, так как боялся удара, как вдруг в комнату вошла графиня и бросилась к графу с раздирающими душу криками. Я дрожу до сих пор, когда вспоминаю об этом.

Геден вынул изо рта трубку, медленно поколотил ее о седло, вытряхивая золу, и продолжал печальным голосом:

— С этого дня, Фриц, дьявол поселился в стенах Нидека и, по-видимому, не хочет покинуть их. Каждый год, в то же время, в тот же час с графом повторяется припадок. Болезнь тянется от одной до двух недель, во время которых он кричит так, что волосы на голове встают дыбом. Потом он поправляется, медленно, медленно. Он слаб, бледен, с

трудом переходит со стула на стул; при малейшем шуме, движении он оборачивается, боится своей собственной тени. Молодая графиня, самое кроткое существо на свете, не покидает его; но он не выносит ее вида. «Прочь! Прочь! — кричит он, протягивая руки. — Оставь меня! Оставь! Неужели я еще недостаточно страдал?» Ужасно слышать его, и я, который сопровождает его на охоте, трубит в рог, я — старший из его слуг, готовый сломить себе голову ради него, — я готов его задушить в такие минуты, так отвратительно видеть, как он обращается с родной дочерью!

Спервер с угрюмым выражением лица всадил шпоры в бока лошади, и мы поскакали галопом.

Я задумался. Вылечить от такой болезни казалось трудно, почти невозможно. Очевидно, болезнь была психическая; чтобы бороться с ней, надо было узнать ее первоначальную причину, а причина эта, вероятно, терялась в тайниках души графа.

Эти мысли волновали меня. Рассказ старика-охотника, вместо того, чтобы ободрить меня, произвел на меня грустное впечатление; в таком настроении трудно было ожидать успеха.

Около трех часов мы увидели вдаль, на горизонте, старинный замок Нидек. Несмотря на далекое расстояние, ясно можно было разглядеть высокие башенки по углам. То был только легкий силуэт, вырисовывавшийся на лазури неба, но мало-помалу стал заметен и красный оттенок гранита Вогезов.

Спервер убавил ход и крикнул:

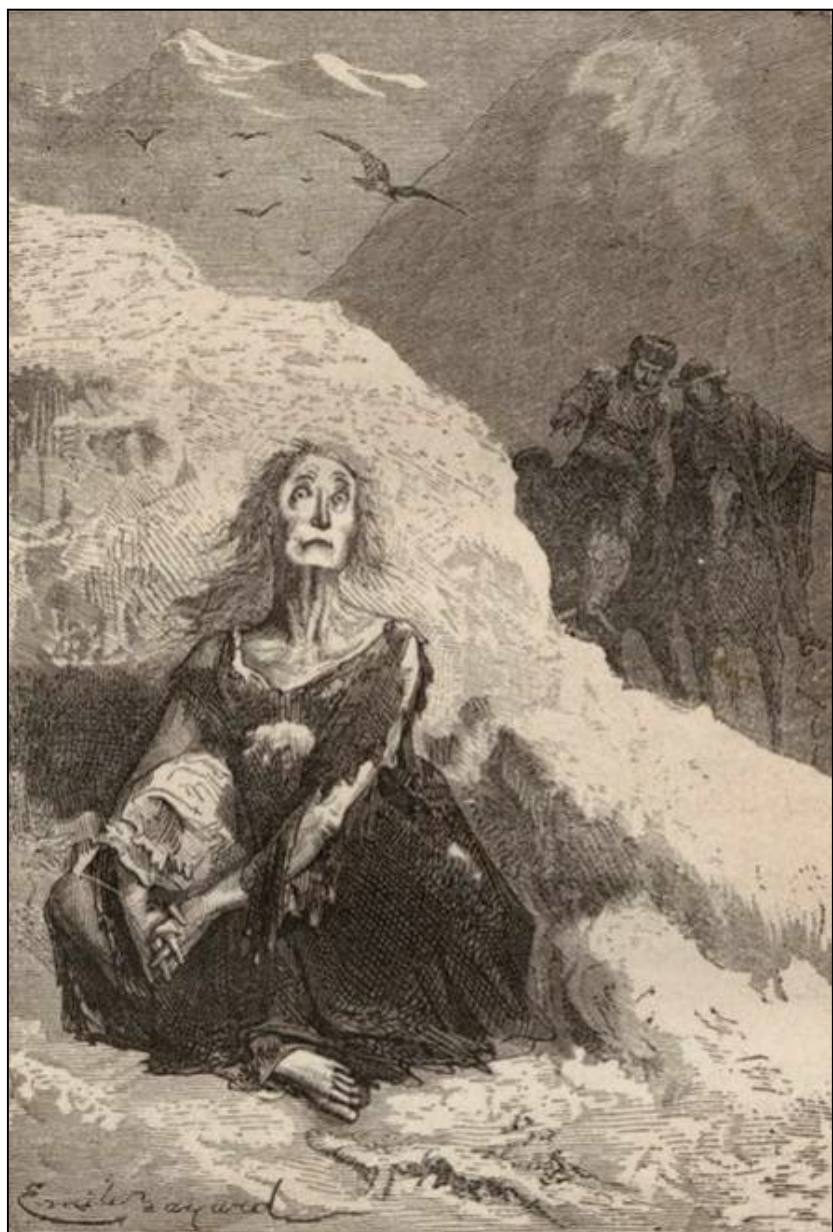
— Фриц, нужно поспеть до ночи!.. Вперед!

Но напрасно он прищипывал копы. Конь оставался неподвижным, с ужасом упираясь в землю передними ногами; грива у него стала дыбом; из расширенных ноздрей вылетали клубы синеватого пара.

— Ты ничего не видишь, Фриц? Неужели это... Что это? — вскрикнул изумленный Гедеон.

Он не закончил фразы и указал на какое-то существо, сидевшее на корточках в снегу, шагах в пятидесяти от нас.

— Чума! — сказал он таким взволнованным тоном, что



я сам почувствовал волнение.

Я взглянул по направлению его взгляда и с изумлением увидел старуху. Она сидела, охватив колени руками кирпичного цвета, которые высовывались из рукавов. Пряди седых волос висели вокруг шеи, длинной, красной и обнаженной, как у ястреба.

Странное дело! Узел с пожитками лежал у нее на коленях; угрюмый взгляд был устремлен вдаль, на снежную равнину.

Спервер взял налево, описав громадный круг. Я с трудом догнал его.

— Что ты делаешь, черт возьми! — крикнул я. — Что это, шутка?

— Шутка! Нет, нет! Боже меня сохрани от шуток на этот счет! Я не суеверен, но эта встреча пугает меня.

Он обернулся и, увидев, что старуха не двигается и продолжает смотреть все в том же направлении, по-видимому, немного успокоился.

— Фриц, — проговорил он торжественным тоном, — ты ученый, учился многим вещам, в которых я ничего не смыслю; но научись от меня, что никогда не следует смеяться над тем, чего не понимаешь. Я не без основания называю эту женщину «Чумой». Так зовут ее повсюду в Шварцвальде; но здесь, в Нидеке, она более, чем где-либо, заслуживает это название.

И он продолжал путь, не прибавив ни слова.

— Ну, Спервер, объясни яснее, — сказал я, — я ничего не понимаю.

— Да, это наша общая погибель, колдунья, что ты видел там; от нее идет все зло: она убивает графа.

— Как это возможно? Как может она иметь такое влияние?

— Почему я знаю? Верно только то, что при первом же припадке болезни графа, стоит только выйти на сигнальную башню, чтобы увидеть «Чуму», словно пятно, сидящую между Тифенбахским лесом и Нидеком. Она сидит одна, на корточках. Она приближается с каждым днем, и припадки графа становятся все ужаснее и ужаснее; можно сказать,

что он слышит ее приближение. Иногда, в первый день, когда у него начинается озноб, он говорит мне: «Гедеон, она идет!» Я держу его за руку, чтобы он не дрожал; но он повторяет, запинаясь, с вытаращенными глазами: «Она идет! Ой, ой, она идет!» Тогда я подымаюсь на башню Гюга и долго смотрю... Ты знаешь, Фриц, глаза у меня хорошие. Наконец, вдаль, в тумане, я замечаю черную точку. На следующий день черная точка увеличивается; граф Нидек ложится в постель; зубы у него стучат. На следующее утро старуха ясно видна; начинаются припадки; граф кричит... На следующий день старуха появляется у подножия горы; тогда челюсти графа стиснуты, изо рта идет пена, глаза блуждают. О, несчастная!.. И подумать только, что я раз двадцать целился в нее из карабина, а бедный граф мешал мне выпустить в нее пулю. Он кричал: «Нет, Спервер, не надо крови!» Бедняга бережет ту, которая убивает его, потому что она убивает его, Фриц; у него остались только кожа да кости.

Мой друг Гедеон был слишком предубежден против старухи, чтобы можно было образумить его. Да и кто из людей может провести границу между возможным и невозможным? Разве мы не видим ежедневно, как расширяется область действительности? Все эти оккультные влияния, таинственные сношения, невидимое сродство душ, весь этот мир магнетизма, проповедуемый иными со всем пылом веры, с насмешливым видом оспариваемый другими: кто может ответить, что он не прорвется завтра к нам? Так легко быть разумным среди всеобщего невежества.

Поэтому я ограничился тем, что попросил Спервера умерить свой гнев и, главное, не стрелять в «Чуму», так как это принесло бы ему несчастье.

— Мне все равно, — сказал он, — самое худшее, что может случиться со мной, это то, что меня повесят.

— Ну, это слишком для честного человека.

— Эге! Смерть, как всякая другая. Задохнешься, вот и все. Мне это нравится так же, как если бы тебя хватили молотком по голове, как это бывает при ударе, или когда не можешь спать, курить, глотать, переваривать пищу, чихать,

как при других болезнях.

— Бедный Гедеон, ты плохо рассуждаешь для человека с седой бородой.

— Седая так седая, а это мой взгляд. У меня всегда в одном дуле пуля для колдуньи; по временам я переменяю заряд и, если представится случай...

Он закончил свою мысль выразительным жестом.

— Ты будешь неправ, Спервер, ты будешь неправ; я разделяю совет графа Нидека: «Не надо крови!» Один великий поэт сказал: «Все волны океана не могут смыть каплю человеческой крови!» Подумай об этом, товарищ, и разряди свое ружье при первой встрече с кабаном.

Эти слова, по-видимому, произвели впечатление на старого браконьера; он опустил голову, и лицо его приняло задумчивое выражение.

В это время мы ехали по лесистым склонам, отделяющим жалкую деревушку Тифенбах от замка Нидек.

Наступила ночь. Как почти всегда бывает после светлого, холодного зимнего дня, пошел снег; он падал большими хлопьями и таял на гривах наших лошадей, которые тихо ржали и прибавляли шаг, вероятно, возбуждаемые близостью жилья.

Время от времени Спервер оглядывался назад с видимым беспокойством. И сам я испытывал какое-то непонятное чувство при мысли о странной болезни, описанной слугой графа.

К тому же настроение духа человека согласуется с окружающей его природой, а для меня нет ничего грустнее вида леса, покрытого инеем и колеблемого холодным ветром; больно видеть печальные, как бы окаменевшие деревья.

По мере того, как мы подвигались дальше, дубы попадались все реже; изредка виднелись березы; прямые и белые, как мрамор, они выделялись на темной зелени сосновых лесов. Внезапно, при выезде из чащи, старый замок предстал перед нами своей черной массой, пронизанной светлыми точками.

Спервер остановился перед дверью, проделанной в виде воронки между двумя башнями и запиравшейся железной

решеткой.

— Ну, вот мы и приехали! — воскликнул он, наклонясь к шее лошади.

Он позвонил, дернув за оленью ножку, служившую ручкой звонка, и ясный звук колокола раздался вдали.

После нескольких минут ожидания в глубине свода показался фонарь, осветивший мрак. В его ореоле обрисовался горбатый человечек с желтой бородой, широкоплечий и укутанный в меха.

Среди окружавшей его тьмы он казался каким-то гномом из «Нибелунгов».

Он медленно подошел и прижался к решетке своим широким, плоским лицом, тараща глаза и стараясь разглядеть нас во тьме.

— Это ты, Спервер? — спросил он хриплым голосом.

— Скоро ли ты откроешь, Кнапвурст? — крикнул охотник. — Разве ты не чувствуешь, какой собачий холод?

— А, узнаю тебя, — сказал человечек. — Да... да... это ты... Когда ты говоришь, то так и кажется, что готов проглотить человека.

Дверь открылась, гном поднял, со странной гримасой, фонарь в мою сторону и проговорил на местном наречии:

— Добро пожаловать, господин доктор, — с таким видом, который говорил: «Еще один, который отправится ни с чем, как другие!» Потом он спокойно запер решетку, пока мы сходили на землю, и затем взял под уздцы наших лошадей.

II

Идя за Спервером, который быстро подымался по лестнице, я мог убедиться, что замок Нидек был достоин своей репутации. Это была настоящая крепость, высеченная в скале.

Наши шаги отдавались под высокими, глубокими сводами замка, а проникавший через бойницы воздух колебал

пламя факелов, воткнутых на некотором расстоянии друг от друга в кольца, вделанные в стены.

Спервер знал все закоулки громадного здания; он поворачивался то направо, то налево. Я шел за ним, задыхаясь. Наконец он остановился на большой площадке и сказал:

— Фриц, я оставлю тебя на минутку с обитателями замка и пойду предупредить о твоём приезде молодую графиню Одиль.

— Хорошо. Делай, что находишь нужным.

— Ты найдешь там нашего дворецкого, Тоби Оффенлоха, старого солдата Нидекского полка; он участвовал во французской компании под начальством графа.

— Очень хорошо.

— Ты увидишь также его жену, француженку, Марию Лагут, которая имеет претензию принадлежать к знатной фамилии.

— А почему бы и нет?

— Но, между нами, это просто бывшая маркитантка великой армии. Она привезла нам на своей тележке Тоби Оффенлоха без ног, и бедняга женился на ней из благодарности; ты понимаешь...

— Довольно. Отворяй же, я совсем замерз.

Я хотел войти, но Спервер, упрямый, как истый немец, считал нужным познакомить меня со всеми лицами, с которыми я должен был войти в сношения. Он продолжал, держа меня за рукав:

— Потом ты увидишь Себальта Крафта, главного егермейстера; жалкий малый, но не найдешь никого, кто умел бы трубить в рог, как он; Карла Трумпфа, дворецкого; Христиана Беккера; одним словом, всех наших, если только они не легли спать.

Спервер толкнул дверь, и я остановился, пораженный, на пороге высокой темной залы, бывшей караульни замка Нидек.

Прежде всего я заметил три окна в глубине, выходившие на обрыв; направо — нечто вроде буфета из дуба, потемневшего от времени; на буфете стояла бочка, стаканы, бутылки; налево готический камин с колпаком над очагом, оза-

ренный красным светом великолепного огня и украшенный скульптурными изображениями различных эпизодов охоты на кабана в Средние века; наконец, посреди комнаты длинный стол, а на столе громадный фонарь, освещавший дюжину пивных кружек с оловянными крышками.

Одного взгляда было достаточно, чтобы разглядеть все это.

Больше всего, однако, меня поразили находившиеся в зале люди.

Я узнал дворецкого по деревянной ноге. Это был человек маленького роста, толстый, с румяным цветом лица, с отвислым животом, с красным носом, похожим на спелую малину. На нем был громадный парик цвета пеньки, образовавший складку на затылке, камзол из плюша яблочного цвета с громадными стальными пуговицами величиной с большие монеты, бархатные штаны, шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Он только что начал отвертывать кран бочки; выражение несказанного удовольствия разлилось по всему его багровому лицу; выпученные глаза блестели, как выпуклые стекла.

Его жена — достойная Мария Лагут, одетая в штофное платье с большими разводами, с длинным и желтым, как старинная кожа, лицом — играла в карты с двумя слугами, важно восседавшими на креслах с прямыми спинками. На носу у старухи, а также у одного из игроков, красовались очки в уродливой медной оправе. Третий игрок подмигивал глазом, с хитрой улыбкой посматривая на своих партнеров.

— Сколько карт? — спросил он.

— Две, — ответила старуха.

— А ты Христиан?

— Две...

— Ха, ха!.. Попались... Бейте короля... Бейте туза... Вот так, вот так! Опять сорвалось, матушка! Ну, зато не будете больше хвалить французские игры!

— Господин Христиан, вы непочтительно относитесь к прекрасному полу.

— В карточной игре не до почтительности.

— Но вы же видите, что нет места.

— Ба, ба! С таким носом, как у вас, всегда найдутся средства, чтобы...

В эту минуту Спервер крикнул:

— Вот и я, товарищи!

— А, Геден... уже вернулся?

Мария Лагут быстро скинула свои уродливые очки. Толстый дворецкий опорожнил стакан. Все повернулись в нашу сторону.

— Что его сиятельство? Лучше ему?

— Гм, — проговорил дворецкий, вытягивая нижнюю губу, — гм!

— Все то же?

— Почти, — сказала Мария Лагут, не сводившая глаз с меня.

Спервер заметил это.

— Представляю вам моего сына: доктор Фриц из Шварцвальда, — с гордостью сказал он. — Все здесь переменится, господин Тоби. Теперь, когда приехал Фриц, эта проклятая мигрень должна исчезнуть... Если бы меня послушали раньше... Ну, да лучше поздно, чем никогда.

Мария Лагут продолжала наблюдать за мной. Экзамен, по-видимому, удовлетворил ее, потому что она вдруг крикнула дворецкому:

— Ну, господин Оффенлох, пошевелитесь же, подайте стул господину доктору. Вы стоите с разинутым ртом, словно карп. Ах, сударь... эти немцы!

И, вскочив, словно на пружине, она подбежала, чтобы помочь мне снять пальто.

— Позвольте, сударь...

— Вы слишком добры...

— Давайте, давайте... Что за погода! Ах, сударь, что за страна!

— Итак, его сиятельству ни хуже, ни лучше, — сказал Спервер, отряхивая снег с шапки, — мы успели вовремя. Эй, Каспер! Каспер!

Человек маленького роста, с одним плечом выше другого, с лицом, усеянным миллиардами веснушек, вышел из-под колпака камина.

— Вот я.

— Хорошо! Приготовь для господина доктора комнату в конце большой галереи, комнату Гюга, знаешь?

— Да, сейчас, Спервер.

— Одну минуту. Проходя мимо, захвати чемодан доктора. Кнапвурст даст его тебе. Что касается ужина...

— Будьте покойны; я устрою все.

— Отлично; я рассчитываю на тебя.

Каспер вышел, а Гедеон, сняв шубу, отправился предупредить молодую графиню о моем приезде.

Любезность Марии Лагут смущала меня.

— Встаньте, Себальт, — сказала она главному ловчему. — Я думаю, вы достаточно нажарились с утра. Садитесь к огню, господин доктор, у вас, вероятно, озябли ноги. Протяните их... Вот так.

Потом она подала мне табакерку.

— Употребляете?

— Нет, благодарю вас.

— Напрасно, — проговорила она, запихивая табак в нос, — это красит жизнь.

Она положила табакерку в карман передника и через несколько минут заговорила снова:

— Вы приехали кстати: вчера у его сиятельства был второй припадок, ужасный припадок, не правда ли, господин Оффенлох?

— Именно ужасный, — важно проговорил дворецкий.

— Неудивительно, — продолжала добрая женщина, — если человек не питается; ведь он ничего не кушает, сударь. Представьте себе, я заметила, что он в продолжение двух дней не кушал бульон.

— И не выпил ни стакана вина, — прибавил дворецкий, скрещивая на животе свои маленькие ручки.

Я счел нужным покачать головой для выражения удивления.

Тоби Оффенлох подсел ко мне.

— Знаете что, господин доктор, — сказал он. — Пропишите-ка ему по бутылке маркобрюннера ежедневно.

— И по куску дичи на обед и ужин, — перебила его Мария Лагут. — Бедняк страшно худ.

— У нас маркобрюннер шестидесяти лет, — продолжал дворецкий. — Французы не все выпили, как уверяет госпожа Оффенлох. Вы могли бы посоветовать ему пить иногда и иоганнисберг; ничто не поправляет так больного, как это вино.

— Прежде, — с грустным видом проговорил главный ловчий, — его сиятельство назначал по две больших охоты в неделю и чувствовал себя хорошо; с тех пор, как он не делает этого, он болен.

— Очень просто, — заметила Мария Лагут. — На воздухе разыгрывается аппетит. Господин доктор должен был бы назначить по три больших охоты в неделю, чтобы нагнать потерянное время.

— Достаточно было бы и двух, — серьезно заметил ловчий, — достаточно двух. Нужно отдохнуть собакам; собаки такие же создания Божии, как и люди.

Наступило несколько минут молчания. Я слышал, как ветер ударялся в окна и жалобно завывал в бойницах.

Себальт закинул правую ногу на левую, оперся локтем на колено и, опустив голову на руку, смотрел в огонь с выражением невыразимой грусти. Мария Лагут, взяв новую понюшку, постукивала по табакерке, а я думал о странном свойстве любви, заставляющем их надоедать друг другу советами.

Дворецкий встал

— Господин доктор, вероятно, выпьет стакан вина? — сказал он, облакачиваясь на спинку моего кресла.

— Благодарю; я никогда не пью, когда иду к больному.

— Как? Ни рюмки вина?

— Ни рюмочки.

Он широко раскрыл глаза и с удивленным видом взглянул на жену.

— Господин доктор прав, — сказала она. — Я сама люблю пить только во время еды, а потом выпить рюмку коньяку. В моей стране дамы пьют коньяк; это гораздо благороднее водки.

Мария Лагут еще заканчивала свои объяснения, когда Спервер приотворил дверь и сделал мне знак следовать за ним.

Я поклонился честной компании и, выйдя в коридор, услышал, как жена дворецкого сказала своему мужу:

— Он очень хорош, этот молодой человек; из него вышел бы прекрасный карабинер.

Спервер казался обеспокоенным; он ничего не говорил; я сам был очень задумчив.

Через несколько шагов под мрачными сводами замка смешные фигуры Тоби и Мари Лагут совершенно исчезли из моей памяти. Бедные, безвредные существа! Они жили, словно летучие мыши под могучим крылом ястреба.

Геден открыл дверь в великолепную комнату, обтянутую лиловым бархатом, с золочеными карнизами над занавесями. Она слабо освещалась поставленной на камине бронзовой лампой с хрустальным матовым шаром. Густой мех ковров смягчал шум наших шагов. Казалось, то было убежище безмолвия и размышления.

Спервер вошел и приподнял тяжелые занавеси, закрывавшие готическое окно. Я видел, как он устремил свой взгляд в темноту, и понял его мысль: он смотрел, сидит ли еще колдунья среди равнины. Однако, он ничего не увидел, так как ночь была темная.

Я сделал несколько шагов и при бледном сиянии лампы разглядел какое-то хрупкое белое существо, сидевшее в кресле готического стиля недалеко от больного.

Это была Одиль Нидек. Ее длинное черное шелковое платье, мечтательный и грустный вид, идеально благородные черты напоминали мистические создания Средних веков, которые современное искусство забывает, не будучи в силах заставить нас забыть их.

Что произошло в моей душе при виде этой белой статуи? Не знаю. В моем волнении было какое-то религиозное чувство. Внутреннее музыкальное чувство привело мне на память старинные баллады, слышанные в детстве, набожные песни, которые добрые шварцвальдские кормилицы напевают, чтобы успокоить наши первые горести.



Одиль встала при моем приближении.

— Добро пожаловать, господин доктор, — сказала она с трогательной простотой. Потом, указав на альков, прибавила:

— Мой отец там.

Я низко поклонился и, ничего не ответив — так я был взволнован — подошел к ложу больного.

Спервер, стоя у изголовья кровати, держал высоко лампу одной рукой; в другой у него была большая меховая шапка. Одиль стояла слева от меня. Свет, умеряемый матовым стеклом, слабо падал на лицо графа.

Меня сразу поразила странная физиономия графа; не смотря на все мое почтительное восхищение его дочерью, я невольно сказал про себя: «Это старый волк!»

Действительно, эта седая голова с короткими волосами, удивительно опухшая за ушами, со странно продолговатым лицом; этот суживающийся кверху лоб, широкий внизу, расположение век, заканчивавшихся под острым углом у начала носа, окаймленных черными кругами и не вполне закрывавших мутные, холодные глазные яблоки; короткая густая борода, окружавшая костлявые челюсти — все в этом человеке вызывало во мне дрожь и странные мысли о сходстве с животным приходили мне на ум.

Я совладал со своим волнением и взял руку больного; она была суха и нервна, с маленькой, жесткой кистью.

С медицинской точки зрения я нашел, что пульс у больного частый, лихорадочный; состояние его походило на столбняк.

Что делать?

Я погрузился в раздумье; меня страшно стесняло, с одной стороны, присутствие молодой графини, полной тревоги; с другой стороны, Спервер старался прочесть мои мысли по глазам, внимательно следил за каждым моим движением. Я видел, что нельзя предпринять ничего серьезного.

Я опустил руку больного и прислушался к его дыханию. По временам грудь графа подымалась, как бы от рыданий; потом дыхание ускорялось, становилось прерывистым. Очевидно, какой-то кошмар угнетал этого человека. Что это?

Эпилепсия или столбняк? Не все ли равно... Причина... причина... вот что мне нужно было узнать и что ускользало от меня.

Я в раздумье отошел от кровати.

— На что можно надеяться, сударь? — спросила меня молодая девушка.

— Вчерашний припадок близится к концу, сударыня. Нужно предупредить новый приступ.

— А это возможно, господин доктор?

Я хотел было ответить общими медицинскими местами, не смея высказаться положительно, как вдруг до наших ушей донесся отдаленный звук колокола.

— Чужие, — сказал Спервер.

Наступило молчание.

— Подите, посмотрите, — сказала Одиль; легкая тень легла на ее лицо. — Боже мой! Как исполнять обязанности гостеприимства в таких обстоятельствах?.. Это невозможно!

Дверь открылась; в темноте показалась белокурая головка с розовым личиком и тихо проговорила:

— Господин барон Циммер-Блудерик со своим берейтором просит пристанища в замке... Он заблудился в горах.

— Хорошо, Гретхен, — кротко ответила молодая графиня. — Скажите дворецкому, чтобы он принял господина барона Циммера. Пусть ему скажут, что граф болен и поэтому не может сам приветствовать его. Разбудите людей, и пусть все будет сделано как следует.

Нельзя описать благородной простоты, с которой молодая хозяйка отдавала приказания. Если благородство кажется наследственным в некоторых семьях — это потому, что исполнение долга, налагаемого богатством, возвышает душу.

Я восхищался грацией, нежностью взгляда, благородством Одиль Нидек, чистотой линий ее лица, которую можно найти только в аристократических сферах. Раздумывая об этом, я напрасно старался найти в моих воспоминаниях что-либо подобное красоте графини.

— Ну, Гретхен, поторопитесь.

— Хорошо, сударыня.

Девушка ушла, а я все еще несколько секунд сидел, как очарованный.

Одиль обернулась ко мне.

— Как видите, — с печальной улыбкой проговорила она, — нельзя предаваться печали; приходится разрываться между привязанностями и светскими обязанностями.

— Правда, сударыня, — ответил я, — избранные души принадлежат всем несчастным: заблудившийся путник, больной, голодный бедняк — все требуют их участия, потому что Бог создал их, подобно звездам, для счастья всех.

Одиль опустила свои длинные ресницы, а Спервер тихо пожал мне руку.

— Ах, господин доктор, если бы вы спасли моего отца! — после минутного молчания проговорила Одиль.

— Как я уже говорил вам, сударыня, припадок прошел. Нужно помешать его возвращению.

— Надеетесь вы на это?

— С Божьей помощью, без сомнения, это не невозможно. Я подумаю.

Одиль, взволнованная, проводила меня до двери. Мы со Спервером прошли по передней, где несколько слуг ожидали приказаний хозяйки. Мы вошли в коридор. Гедеон, шедший впереди, вдруг обернулся и положил мне на плечи обе руки.

— Ну, Фриц, — сказал он, пристально смотря мне в глаза, — я — мужчина; ты можешь сказать мне прямо, что ты думаешь.

— Сегодня ночью нечего опасаться.

— Да, я знаю, ты сказал это графине; ну, а завтра?

— Завтра?..

— Да; не отворачивайся. Предположим, что тебе не удастся предотвратить припадок... Скажи мне откровенно, Фриц, как ты думаешь, умрет он в этом случае?

— Возможно, но я не думаю этого.

— Ну, если ты не думаешь, то, значит, уверен вполне! — вскрикнул Спервер, прыгая от радости.

И, взяв меня под руку, он увлек меня в галерею. Мы только что вошли в нее, как появились барон Циммер-Блу-

дерик с берейтором. Впереди них шел Себальт с зажженным факелом. Они отправлялись в отведенные им комнаты. Оба они, с наброшенными на плечи плащами, в высоких мягких венгерских сапогах до колен, в длинных мундирах фисташкового цвета, в мохнатых медвежьих шапках, надвинутых на головы, с охотничьими ножами за поясом, имели странный, живописный вид при белом свете торящей смолы.

— Ну, если я не ошибаюсь, это те, кого мы видели в Фрейбурге. Они последовали за нами.

— Ты не ошибся; это они. Я узнал младшего по его высокому росту; у него орлиный профиль, и он носит усы à la Валленштейн.

Они исчезли в боковом проходе.

Гедеон снял со стены факел и повел меня через лабиринт коридоров, проходов с высокими стрельчатыми готическими сводами. Переходы эти казались бесконечными.

— Вот зала маркграфов, — говорил он, — вот портретная, часовня, в которой не служат обедни с тех пор, как Людовик Лысый стал протестантом. Вот оружейная.

Все это мало интересовало меня.

После того, как мы поднялись наверх, нам пришлось спуститься по целому ряду лесенок. Наконец, слава Богу, мы добрались до маленькой массивной двери. Спервер вынул из кармана громадный ключ и, передав мне факел, оказал:

— Смотри за огнем. Будь внимателен.

Он толкнул дверь, и холодный наружный ветер ворвался в коридор. Пламя стало колебаться, выбрасывая искры во все стороны. Мне показалось, что я стою на краю пропасти, и я отступил в ужасе.

— А, а, а, — вскрикнул Спервер, раскрывая до ушей свой большой рот, — а ведь ты словно боишься, Фриц! Иди вперед... Не бойся... Мы на полянке, которая ведет от замка к старой башне.

И он вышел из замка, чтоб показать мне пример.

Снег покрывал площадку с гранитной балюстрадой; ветер, громко завывая, сметал снег. Тот, кто увидел бы с равнины свет нашего колеблющегося факела, мог бы сказать:



— Что это они делают там, в облаках? Зачем прогуливаются в такое время?

«Старая колдунья, может быть, смотрит на нас», — подумал я и вздрогнул от этой мысли. Я плотнее укутался в плащ и, придерживая шляпу, побежал за Спервером. Он подымал фонарь, чтобы освещать мне путь, и шел большими шагами.

Мы поспешно вошли в башню, а потом и в комнату Гюга. Яркий огонь нас встретил своим веселым потрескиванием. Какое счастье очутиться под защитой толстых стен!

Я остановился, пока Спервер запирает дверь, и осмотрел великолепное жилище.

— Слава Богу! — воскликнул я. — Мы можем отдохнуть.

— За хорошим ужином, — прибавил Гедеон. — Посмотри-ка лучше сюда, чем глазеть по сторонам: задняя нога козули, два рябчика, щука с синей спиной, с петрушкой во рту. Холодное мясо и подогретое вино — все, что я люблю. Я доволен Каспером; он хорошо понял мои приказания.

Добряк Гедеон говорил правду: холодное мясо и подогретое вино — так как перед тем целый ряд бутылок подогрелся приятному действию тепла.

Я почувствовал, что во мне пробуждается волчий аппетит, но Спервер, как знаток в этом деле, сказал мне:

— Фриц, не будем торопиться, устроимся сначала поудобнее; рябчики не улетят. Во-первых, должно быть, сапоги жмут тебе ноги; после восьми часов непрерывного галопа хорошо переменить обувь — это мой принцип. Ну, садись, протяни твою ногу... Вот так. Ну, я держу ее... Отлично... Вот один сапог и снят... Теперь другой... Так! Сунь ноги в эти деревянные башмаки,ними свой плащ и накинь этот кожан. Вот, хорошо!

Он сделал то же самое; потом крикнул громким голосом:

— Ну теперь, Фриц, за стол! Работай с своей стороны, а я буду с моей, и помни хорошенько старую немецкую пословицу: «Если дьявол создал жажду, то, наверное, вино создал Господь Бог!»

III

Мы ели с тем блаженным увлечением, которое вызывает десятичасовая скачка по снегам Шварцвальда.

Спервер, набрасываясь то на заднюю часть косули, то на рябчиков и на шуку, бормотал с набитым ртом:

— У нас леса! У нас места, покрытые вереском! У нас пруды!

Потом он откидывался на спинку кресла, схватывал какую попало бутылку и прибавлял:

— У нас есть также холмы, зеленые весной и пурпуровые осенью... За твоё здоровье, Фриц!

— За твоё, Гедеон.

Чудесно было смотреть на нас; мы любовались друг другом.

Огонь трещал; вилки стучали; челюсти быстро работали, бутылки пенились; стаканы звенели, а снаружи ветер зимних ночей, сильный горный ветер пел свою похоронную песню, тот странный, печальный гимн, который он поет, когда эскадроны снега нападают друг на друга, борются, а бледная луна смотрит на вечную битву.

Мало-помалу наш аппетит успокаивался. Спервер наполнил стакан старым брумбертским вином; пена дрожала на больших краях стакана, который береитор подал мне со словами:

— За выздоровление господина Иери-Ганса Нидека! Выпей до последней капли, Фриц, чтобы Бог услышал нас.

Что мы и сделали.

Потом он снова наполнил свой стакан и повторил громовым голосом:

— За выздоровление высокого и могущественного господина Иери-Ганса Нидека, моего хозяина!

С серьезным видом он опорожнил и этот стакан.

Чувство глубокого удовлетворения охватило обоих нас, и мы считали себя счастливыми, что живем на свете.

Я откинулся в кресле, задрал нос, опустив руки, и принялся рассматривать мою резиденцию.

Это был низкий свод, высеченный прямо в скале, настоящий очаг из цельного куска, достигавший не более двенадцати футов в вершине дуги. В глубине я увидел большую нишу, в которой стояла моя кровать, очень низкая, с медвежьей шкурой вместо одеяла; в этой нише была другая, поменьше, украшенная статуэткой Святой Девы, высеченной из той же глыбы гранита и увенчанной пучком увядшей травы.

— Ты осматриваешь свою комнату, — сказал Спервер. — Не очень-то грандиозно, черт возьми! Не сравнить с апартаментами в замке. Мы в башне Гюга; она стара, как гора, Фриц, и относится ко временам Карла Великого. В то время, видишь, люди еще не умели строить высоких, широких, круглых или остроконечных сводов; они высекали в камне.

— Как бы то ни было, ты упрятал меня в странную дыру, Гедеон.

— Ошибаешься, Фриц, это почетная зала. Здесь помещают друзей графа, когда они приезжают к нему; понимаешь, старая башня Гюга — это самое лучшее в замке.

— Кто такой этот Гюг?

— Гюг-Волк.

— Как, Гюг-Волк? Что это значит?

— Глава рода Нидек, страшный сорвиголова. Он поселился здесь с двадцатью рейтарами и телохранителями своего отряда. Они взобрались на эту скалу, самую высокую в этих горах. Завтра ты сам увидишь. Они выстроили эту башню, а потом сказали себе: «Мы — господа! Горе тем, кто захочет проехать без выкупа; мы нападём на них, как волки; мы съедем у них шерсть на спине, а если за шерстью последует и кожа — тем лучше! Отсюда далеко видно: мы можем видеть ущелья долины Рее, Штейнбаха, Рош-Плат, всей линии Шварцвальда. Берегитесь, купцы!» И они поступили так, как сказали. Гюг-Волк был их предводителем. Все это мне рассказал вчера Кнапвурст, вчера вечером.

— Кнапвурст?

— Маленький горбун... тот, кто нам открыл решетку. Такой чудак, Фриц, важно сидит в библиотеке.

— Ага! У вас, в Нидеке, есть и ученый.

— Да, бездельник!.. Вместо того, чтобы сидеть в своей сторожке, он целый день проводит в том, что стряхивает пыль со старых фамильных пергаментов. Он расхаживает по полкам библиотеки, словно большая крыса. Этот Кнапвурст знает всю нашу историю лучше нас самих. Вот-то порассказал бы он тебе, Фриц! Он называет это хрониками!.. Ха, ха, ха!

И Спервер, повеселевший от старого вина, хохотал в продолжение нескольких минут, сам не зная почему.

— Итак, Геден, — сказал я, — эта башня называется башней Гюга... Гюга-Волка?

— Черт возьми, я уже говорил!.. Это тебя удивляет?

— Нет!

— Нет, удивляет; я вижу это по твоему лицу; о чем ты думаешь?.. О чем ты думаешь?

— Боже мой... удивляет меня вовсе не название этой башни; я думаю, как это я нахожу тебя, старого браконьера, с детства видевшего только сосны, снежные вершины Вальдгорна, ущелья долины Рее, тебя, который в молодости только и делал, что дразнил сторожей графа Нидека, бегал по тропинкам Шварцвальда, бродил по лесам, вдыхал свежий воздух, горячие лучи солнца, вел свободную лесную жизнь — как это я нахожу тебя через шестнадцать лет здесь, в этой красной гранитной кишке? Вот что удивляет меня, чего я не могу понять. Ну, Спервер, зажигай трубку и расскажи мне, как это случилось.

Бывший браконьер вынул из своей кожаной куртки черную трубку; медленно набил ее, взял на ладонь уголь и положил его в трубку; потом поднял голову, устремил глаза в пространство и заговорил с задумчивым видом:

— Старые соколы, старые кречеты и старые ястребы долго летают на свободе, а кончают тем, что поселяются в расщелине скалы. Да, правда: я любил свежий воздух; люблю и теперь; но вместо того, чтобы сидеть вечером на высокой ветке и раскачиваться от ветра, теперь я предпочитаю вернуться в мою берлогу, выпить хорошенько... спокойно разрезать кусочек дичи и высушить мои перья перед хорошим огнем. Граф Нидек не презирает Спервера, старого сокола,

настоящего лесного человека. Однажды вечером он встретил меня при свете луны и сказал: «Товарищ, ты охотишься всегда один; приходи охотиться со мной. У тебя хороший клюв, хорошие когти. Ну, продолжай охотиться, потому что это у тебя в крови, но охотиться с моего позволения, потому что я — орел этой горы; меня зовут Нидек!»

Спервер помолчал несколько минут и потом продолжал:

— Ну, что же! Это мне было удобно. Я по-прежнему охочусь и распиваю спокойно бутылку вина с приятелем.

В эту минуту дверь затряслась. Спервер остановился и прислушался.

— Это порыв ветра, — сказал я.

— Нет, это другое. Разве ты не слышишь, что это скребутся когти?.. Это сорвавшаяся собака. Сюда, Лиэверле! Сюда, Блитц! — крикнул, вставая, Спервер; но он не сделал и двух шагов, как датская собака страшного вида вбежала в башню, положила лапы на шею старика и принялась лизать своим большим розовым языком его бороду и щеки с трогательным радостным повизгиванием.

Спервер положил руку на шею собаки и обернулся ко мне.

— Фриц, — сказал он, — кто из людей мог бы так любить меня?.. Взгляни на эту голову, эти глаза, зубы.

Он отвернул губы собаки и показал мне клыки, которые могли бы разорвать буйвола. Потом он с трудом оттолкнул собаку, которая удвоила ласки.

— Пусти, Лиэверле; я знаю, что ты меня любишь. Черт возьми! Кто бы любил меня, если бы не ты?

И Гедеон пошел запереть дверь.

Никогда не видал я такого страшного животного, как этот Лиэверле; ростом он был двух с половиною футов. Это была сильная охотничья собака с широким приплюснутым лбом, с тонкой кожей, вся сотканная из нервов и мускулов, с живыми глазами, широкой грудью, плечами и боками, но без чутья. Дай такой собаке нос таксы — и дичь живо перевелась бы вся, без остатка.

Спервер вернулся, сел и, положив руку на голову своего Лиэверле, с гордостью перечислял мне его достоинства.

Лиэверле, казалось, понимал его.

— Знаешь, Фриц, эта собака душит волка, вцепляясь в него... Это, можно сказать, совершенство по смелости и силе. Ему нет пяти лет, и он в полном расцвете сил. Мне не нужно тебе говорить, что он дрессирован для охоты па кабана. Каждый раз, как мы встречаем стадо кабанов, я боюсь замесго Лиэверле: он бросается слишком смело, летит, как стрела. Поэтому я дрожу при мысли, что кабан может его хватить клыком. Ложись там, Лиэверле, — крикнул Спервер, — ложись па спину!

Собака послушалась и легла.

— Посмотри, Фриц, на белую полосу, которая начинается под ляжкой и идет до груди: это сделал кабан. Бедное животное! Оно все же не выпускало его уха из своих челюстей. Мы шли по кровавому следу. Я прискакал первым. Увидя моего Лиэверле, я вскрикнул, соскочил на землю, схватил его в охапку, завернул в плащ и отправился сюда. Я был вне себя! К счастью, кишки не были затронуты. Я зашил ему брюхо. Ах, черт возьми, как он выл... Он страдал; но через три дня он уже зализывал свои раны; собака, которая лижет свои раны, спасена. Помнишь, Лиэверле? Зато и любим же мы друг друга.

Я был искренне растроган привязанностью человека к собаке и собаки к человеку; они смотрели в глубину души друг друга. Собака виляла хвостом; у человека были слезы на глазах.

Спервер продолжал:

— Какая сила!.. Видишь, Фриц; он разорвал веревку, чтобы прийти повидаться со мной; очень толстую веревку. Он нашел мой след. Ну, Лиэверле, лови!

И он бросил остаток задней ноги косули. Собака схватила кусок, причем челюсти ее сильно щелкнули. Спервер взглянул на меня со странной улыбкой и сказал:

— Фриц, если бы он схватил тебя за штаны, немного осталось бы от тебя.

— Как и от всякого другого, черт возьми!

Собака легла под колшак камина, вытянув свою худую спину и держа мясо в передних лапах. Она начала разрывать

его по кусочкам. Спервер поглядывал на пса искоса с довольным видом. Кости так и хрустели на зубах Лиэверле; он любил мозг.

— Да, — проговорил старый браконьер, — что бы ты сделал, если бы тебе поручили отнять у него кость?

— Черт возьми! Трудное было бы поручение!

И мы оба расхохотались от всего сердца. Спервер, растянувшийся в своем кожаном коричневом кресле, опустив левую руку, поставил одну ногу на скамеечку, другую протянул к полену, которое трещало и шипело в камине, и выпускал спиралями синеватый дым к вершине свода.

Я продолжал смотреть на собаку; вдруг мне пришел на память прерванный разговор.

— Послушай, Спервер, ты не все сказал мне, — заметил я. — Если ты покинул гору для замка, то причиной этому была смерть Гертруды, твоей доброй, достойной жены.

Гедеон нахмурил брови; взор его затуманился слезой; он выпрямился и выколол золу из трубки об ноготь.

— Ну да, — сказал он, — правда, моя жена умерла!.. Вот что выгнало меня из леса. Я не мог без скрежета зубов видеть долину Рош-Крез; я реже охочусь в вереске, но вижу ее сверху, и когда случайно стоя гончих поворачивает туда, я посылаю все к черту! Я возвращаюсь назад... я стараюсь думать о чем-нибудь другом.

Спервер стал мрачен. Он молчал, опустив голову; я раскаивался, что вызвал в нем грустные воспоминания. Потом мне вспомнилась «Чума», сидящая на корточках, и я почувствовал, что дрожь пробежала у меня по телу.

Странное впечатление! Слово, одно слово навело нас на целый ряд грустных размышлений. Случайно возник целый мир воспоминаний.

Не знаю, сколько времени продолжалось наше молчание, как вдруг какой-то глухой, страшный звук, похожий на отдаленный гул грозы, заставил нас вздрогнуть.

Мы взглянули на собаку. Она продолжала держать в передних лапах полуизгрызанную кость, но, приподняв голову и правое ухо, прислушивалась с блестящими глазами...

прислушивалась в молчании; дрожь гнева пробежала по ее телу.

Спервер и я переглянулись, побледнев: снова ни шума, ни звука; ветер спал; ничего не было слышно, кроме непрерывного, глухого ворчания, вырывавшегося из груди собаки.

Вдруг она вскочила и бросилась к стене с сухим, хриплым, ужасным лаем, раздавшимся под сводами, словно удар грома.

Лиэверле, опустив голову, казалось, смотрел сквозь гранит; из-под приподнятых губ виднелись два ряда белоснежных зубов. Он продолжал ворчать. По временам он вдруг останавливался, прижимался мордой к углу стены и тяжело дышал; потом с гневом подымался и пробовал рыть гранит передними лапами.

Мы наблюдали за собакой, ничего не понимая.

Второй взрыв яростного лая, ужаснее прежнего, заставил нас вскочить.

— Лиэверле! — вскрикнул Спервер, бросаясь к нему. — Что с тобой, черт возьми? Вzbесился ты, что ли?

Он схватил полено и стал ударять им, зондируя стену, толстую, как скала. Нигде не было заметно пустоты; собака продолжала делать стойку.

— Право, Лиэверле, тебе приснился дурной сон, — сказал старый браконьер. — Ну, ложись, не расстраивай мои нервы.

Как раз в эту минуту до нас донесся шум снаружи. Дверь отворилась, и толстый, почтенный Тоби Оффенлох с большим фонарем в одной руке, с тростью в другой, в съехавшей на затылок треуголке, с веселым, улыбающимся лицом, показался на пороге.

— Привет, честная компания! — проговорил он. — Что это вы тут делаете?

— Да вот эта тварь Лиэверле поднял такой шум, — сказал Спервер. — Представьте себе, ошетинился на эту стену. Хотел бы узнать, чего ради?

— Черт возьми! Вероятно, он услышал стук моей деревяшки по лестнице башни, — смеясь, оказал добряк.



Он поставил фонарь на стол и продолжал:

— Это научит вас привязывать ваших собак, господин Гедеон. Вы так слабы с вашими собаками, так слабы! Эти проклятые животные скоро выгонят нас. Сейчас, в большой галерее, я встретил вашего Блитца; он бросился на мою ногу; посмотрите: вот следы его зубов! Нога совсем новая! Каналья!

— Привязывать моих собак! Вот-то хорошо! — проговорил Спервер. — Привязанные собаки ничего не стоят; они слишком дичают. И разве Лиэверле не был привязан? У бедного животного и теперь еще веревка на шее.

— Ну, да я говорю не ради себя. Когда они подходят ко мне, я подымаю трость иставляю вперед мою деревянную ногу; я говорю о дисциплине: собаки должны быть в кошурах, кошки на чердаках, а люди в замке.

Тоби сел при этих последних словах и, опершись обоими локтями о стол, вытаращив глаза от удовольствия, сказал тихим, доверчивым тоном:

— Знаете, господа, сегодня я холостяк.

— Вот как!

— Да, Мария-Анна дежурит с Гертрудой в передней его сиятельства.

— Так что вы не торопитесь?

— Нисколько!

— Какое горе, что вы пришли слишком поздно, — сказал Спервер, — все бутылки пусты.

Расстроенный вид старика тронул меня. Ему так хотелось воспользоваться своим соломенным вдовством! Но, несмотря на все усилия, я не мог удержаться от сильной зевоты.

— Ну, в другой раз, — сказал он. — Отложенное не потеряно!

Он взял свой фонарь.

— Спокойной ночи, господа.

— Эй, погодите, — крикнул Гедеон, — я вижу, Фриц хочет спать, мы выйдем вместе.

— Охотно, Спервер; охотно; по пути зайдем к дворецкому Трумперу; он внизу с остальными; Кнапвурст рассказывает им всякие истории.

— Хорошо. Спокойной ночи, Фриц.

— Спокойной ночи, Геден; не забудь позвать меня, если графу станет хуже.

— Будь спокоен. Эй, Лизверле!

Они вышли. Когда они проходили по двору, я услышал, как пробило одиннадцать.

Я изнемогал от усталости.

IV

В единственное окно башни проникали синеватые лучи рассвета, когда отдаленные звуки охотничьего рога разбудили меня в моей гранитной нише.

Нет ничего печальнее, меланхоличнее вибрации этого инструмента на рассвете, когда все вокруг еще молчит, когда ни одно дыхание, ни один вздох не нарушают безмолвие уединения; в особенности последняя, продолжительная нота, несущаяся по громадной равнине, пробуждая далеко-далеко эхо в горах, имеет в себе что-то высоко поэтичное, трогательное сердце.

Опершись локтем о медвежью шкуру, я слушал этот жалобный голос, вызывавший воспоминания о феодальных временах. Вид моей комнаты, этой странной берлоги Нидекского волка, низкого, мрачного, тяжелого свода, маленького окна со свинцовыми оконницами, более широкого, чем высокого и глубоко вдавшегося в стену, возбуждал во мне еще более суровые воспоминания.

Я встал поспешно, подбежал к окну и широко распахнул его.

Тут меня ожидало зрелище, которого не может описать никакое человеческое слово, зрелище, которое дикий орел высоких Альп видит каждое утро при поднятии пурпуровой завесы на горизонте: горы!.. горы!.. горы!.. Неподвиж-

ные волны, которые выравниваются и исчезают в отдаленных туманах Вогезов; громадные леса, озера, ослепительные вершины; крутые линии их вырисовываются на синеватом фоне долин, покрытых снегом. А дальше — бесконечность!

Какой энтузиазм может возбудить подобная картина!

Я был вне себя от восторга. Каждый взгляд открывал новые подробности: села, фермы, деревни как бы вырастали в каждой складке земли. Куда ни посмотришь — какой вид!

Я стоял так уже четверть часа, когда чья-то рука медленно легла мне на плечо; я обернулся; спокойное лицо и молчаливая улыбка Гедеона приветствовали меня.

Он облокотился рядом со мной на окно и курил трубку. Он протянул руку в бесконечность и сказал мне:

— Взгляни, Фриц, взгляни... Ты, сын Шварцвальда, должен любить это! Взгляни вон туда!.. туда!.. Рош-Фандю. Видишь? Помнишь ты Гертруду?.. О, как все это далеко!

Спервер отер слезу; что мог я ответить ему?

Мы погрузились в созерцание, взволнованные таким величием. Иногда старый браконьер, заметив, что я смотрю в какую-нибудь точку на горизонте, говорил мне:

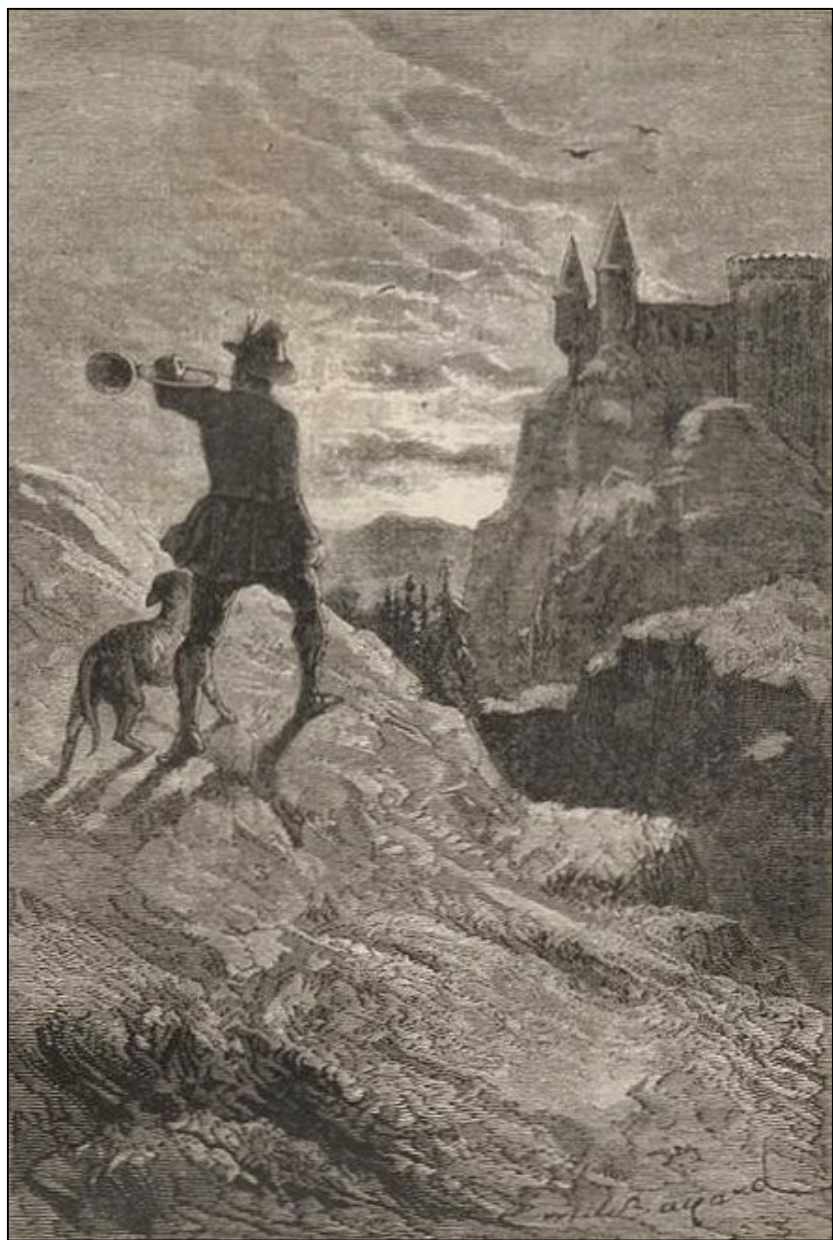
— Это — Тифенталь! Ты видишь поток Штейнбал, Фриц? Он повис ледяной бахромой на плече Харберга: холодный плащ для зимы! А вот та тропинка ведет в Фрейбург; недели через две мы с трудом отыщем ее.

Так прошло больше часа.

Я не мог оторваться от этого зрелища. Несколько хищных птиц с вырезными крыльями, с хвостом в виде веера, летали вокруг башни; наверху пролетали цапли, избегая когтей хищников благодаря высоте своего полета.

Ни одного облачка; весь снег был на земле. Охотничий рог в последний раз приветствовал гору.

— Это плачет мой друг Себальт, — сказал Спервер, — хороший знаток собак и лошадей и, кроме того, первый трубач в рог в Германии. Прислушайся, Фриц, как нежно!.. Бедный Себальт! Он тает со времени болезни его сиятельства; он не может охотиться, как прежде. Вот его единственное утешение: каждое утро, при восходе солнца, он подымается



на Альтенбург и играет любимые песни графа. Он думает, что это может вылечить больного.

Спервер, с тактом человека, умеющего восторгаться, не мешал моему созерцанию; но, когда я, ослепленный сильным светом, взглянул во тьму башни, он сказал:

— Фриц, все идет хорошо; у графа не было припадка.

Эти слова вернули меня к действительности.

— А! Тем лучше... тем лучше!

— Это ты помог ему, Фриц.

— Как я? Я ничего не предписывал ему.

— Ну, так что же? Ты был тут.

— Ты шутишь, Гедеон; что значит мое присутствие, раз я ничего не предписываю больному?

— Ты ему приносишь счастье.

Я пристально взглянул ему в глаза; он не смеялся.

— Да, Фриц, ты приносишь счастье; прошлые годы у нашего господина после первого припадка на следующий день бывал второй, потом третий, четвертый. Ты мешаешь этому, останавливаешь болезнь. Это ясно.

— Не очень, Спервер; напротив, я нахожу, что это очень неясно.

— Поживешь — научишься, — возразил Спервер. — Знай, Фриц, что есть люди, которые приносят счастье и другие, которые приносят несчастье. Например, Кнапвурст всегда приносит мне несчастье. Каждый раз, как я встречаю его, отправляясь на охоту, я уверен, что случится что-нибудь: или мое ружье даст осечку, или я вывихну себе ногу, или кабан разорвет собаку... Зная это, я и стараюсь отправиться пораньше, пока малый, который спит, как сурок, не откроет глаза; или выхожу задней дверью. Понимаешь?

— Понимаю очень хорошо; но твои мысли мне кажутся очень странными, Гедеон.

— Ты, Фриц, — продолжал он, не слушая меня, — ты славный, достойный малый; небо осыпало твою голову бесчисленными благодеяниями; достаточно увидеть твое хорошее лицо, твой откровенный взгляд, твою улыбку, полную доброты, чтобы на сердце стало радостно... Положительно, ты приносишь счастье людям... я всегда говорил это... а до-

казательство... хочешь доказательство?

— Да, черт возьми! Мне хотелось бы узнать, какие добродетели скрываются в моей особе.

— Ну, так взгляни туда, — сказал он, хватая меня за руку.

Он показал мне на холм, находившийся от замка на расстоянии двух выстрелов из карабина.

— Видишь ты вон ту скалу, занесенную снегом?

— Отлично вижу.

— Посмотри вокруг... ты ничего не видишь?

— Ничего.

— Черт возьми! Это очень просто — ты прогнал «Чуму». Каждый год, при втором припадке, ее видели там, сидящую на корточках. Ночью она разводила огонь, грелась и варила коренья. Проклятие! Сегодня утром, первое, что я сделал — влез сюда. Я поднимаюсь на сигнальную башенку, смотрю: ушла, старая негодяйка! Напрасно я прикладываю руку к глазам, смотрю направо, налево, вверх, вниз, на равнину, на гору — ничего, ничего! Она почуяла тебя, это верно.

Старик с восторгом обнял меня и проговорил растроганным голосом:

— Фриц! Фриц, какое счастье, что я привез тебя сюда! Вот-то сердится старуха... Ха, ха, ха!

Признаюсь, мне было стыдно, что за мной оказались такие заслуги, о которых я и не подозревал.

— Итак, Спервер, — сказал я, — граф хорошо провел эту ночь?

— Очень хорошо.

— Тем лучше; спустимся вниз.

Мы снова прошли по площадке и я лучше мог разглядеть вал, достигавший громадной высоты; он шел уступами отвесно по скале, над пропастью.

У меня закружилась голова, когда я заглянул туда; я с ужасом отступил на середину площадки и быстро вошел в коридор, который шел к замку.

Мы прошли несколько коридоров; по пути нам попала большая открытая дверь; я заглянул в нее и увидел наверху двойной лестницы маленького гнома, Кнапвурста, смешная физиономия которого поразила меня вчера вечером.

Зала, в которую я заглянул, привлекла мое внимание своим внушительным видом. Это была зала, где хранились архивы Нидека, высокая, мрачная, пыльная комната с большими стрельчатыми окнами, начинавшимися у вершины свода и оканчивавшимися на расстоянии двух метров от паркета.

Там, на больших полках, хранились собранные старинными аббатами документы, бумаги, генеалогическое древо Нидеков, в котором указывались их права, браки, исторические отношения к самым знаменитым фамилиям Германии; сборники миннезингеров и большие издания Гутенберга и Фауста, замечательные не только своим происхождением, но и монументальной солидностью своих переплетов. Тени свода, покрывавшие холодные стены своими серыми очертаниями, будили воспоминания о старинных средневековых монастырях, а гном, сидевший наверху лестницы, держа огромный том с красным обрезаем на кривых коленях, с головой, ушедшей в меховую шапку, с серыми глазами, приплюснутым носом, с сжатыми в раздумье губами, широкими плечами, худыми членами и круглой спиной, казался естественным хозяином, фамулусом, крысой, как называл его Спервер, этого последнего убежища науки в замке Нидек.

Но что придавало особенное историческое значение зале архивов — это семейные портреты, занимавшие целую стену старинной библиотеки. Тут были все — мужчины и женщины, начиная с Гюга-Волка до Иери-Ганса, нынешнего хозяина замка; начиная от грубого наброска варварских времен до совершенного творения самых знаменитых художников.

Понятно, что мой взгляд направился в эту сторону.

Гюг 1-й, лысый, казалось, смотрел на меня, как смотрит волк в лесу. Серые, налитые кровью глаза, рыжая борода, большие волосатые уши придавали ему свирепый вид, наводивший на меня страх.

Рядом с ним, словно ягненок рядом с хищным зверем, портрет молодой женщины с нежными, грустными глазами, с высоким лбом, со сложенными на груди руками, дер-

жащими молитвенник, с густыми, белокурыми, шелковистыми волосами, окружавшими золотым ореолом бледное лицо, привлечшее мое внимание сильным сходством с Одиль Ни дек.

Нельзя представить себе ничего более нежного и очаровательного, тем эта старинная картина с несколько жесткими и сухими контурами, но восхитительная по своей наивности.

В продолжение нескольких минут я смотрел на нее, но потом мое внимание было привлечено портретом другой женщины, висевшим рядом. Представьте себе вестготский тип в его первоначальной чистоте: широкий и низкий лоб, желтые глаза, выдающиеся скулы, рыжие волосы, орлиный нос.

— Как эта женщина должна была подходить к Гюгу, — подумал я про себя.

Я стал рассматривать ее костюм; он соответствовал энергичному выражению лица; правая рука женщины опиралась на меч; железные латы сжимали талию.

Трудно было бы описать размышления, которые волновали меня при виде этих трех лиц; мой взор переходил от одного к другому с странным любопытством. Я не мог оторваться от портретов.

Спервер остановился на пороге библиотеки и издал резкий свист. Кнапвурст, не трогаясь с места, смотрел на него с высоты лестницы.

— Это ты меня высвистываешь как собаку? — спросил гном.

— Да, злая крыса, я делаю это в твою честь.

— Слушай, Спервер, — тоном величайшего презрения проговорил Кнапвурст, — что ты ни делай, ты не можешь достигнуть до высоты моего башмака. Попробуй-ка, — прибавил он, подымая ногу.

— А если я подымусь по лестнице?

— Я хвачу тебя этим томом.

Гедеон рассмеялся.

— Не сердись, горбун, не сердись, — сказал он. — Я не желаю тебе зла; напротив, я чувствую уважение к твоим по-

знаниям. Но что ты делаешь так рано с лампой, черт возьми? Можно подумать, что ты провел тут ночь.

— Это правда; я провел ее за чтением.

— Разве дни недостаточно длинны для тебя?

— Нет; меня занимает важный вопрос; я засну только после того, как разрешу его.

— Черт возьми! А что это за вопрос?

— Я хочу узнать, при каких обстоятельствах Людвиг Нидек нашел моего предка, Отто Карлика, в Тюрингенских лесах. Знаешь, Спервер, мой предок Отто был ростом в локоть — приблизительно в полтора фута. Он очаровывал свет своим умом и с почетом фигурировал на коронации герцога Рудольфа. Граф Людвиг спрятал его внутри жареного павлина, поданного на стол целиком в перьях и с хвостом; это было одно из самых лучших блюд того времени наравне с маленькими поросятами, наполовину вызолоченными и посеребренными. Во время пира Отто распускал хвост павлина и все вельможи, придворные и важные дамы удивлялись остроумному механизму. Наконец, Отто вышел со шпагой в руке и закричал громким голосом: «Да здравствует герцог Рудольф!» — и вся зала повторила это восклицание. Бернгард Гертцог упоминает об этом случае, но не говорит, откуда явился этот карлик, был ли он высокого или низкого происхождения; последнее, впрочем, маловероятно: у простых людей не бывает такого ума.

Гордость такого маленького человечка поразила меня; но крайнее любопытство заставляло меня щадить его: только он мог дать мне некоторые разъяснения насчет двух портретов, висевших справа от портрета Гюга.

— Господин Кнапвурст, — сказал я почтительным тоном, — не будете ли вы так любезны, не разъясните ли мне одно сомнение?

Польщенный моей вежливостью человечек ответил:

— Говорите, сударь; если дело касается хроник, — я готов удовлетворить вас. Остальное не интересует меня.

— Вот именно; я хотел бы узнать, кто изображен на втором и на третьем портрете вашей галереи?

— А! — сказал Кнапвурст, и лицо его оживилось. — Вы говорите о Гедвиге и Гульдине — двух женах Гюга?

Он положил на место том и сошел с лестницы, чтобы на свободе поговорить со мною. Глаза его блестели; видно было, что тщеславие одолевало его; он радовался, что может выказать свои познания.

Он подошел ко мне и поклонился с важным видом. Спервер стоял за нами, очень довольный, что может показать мне индексного карлика. Несмотря на то, что, по его мнению, Кнапвурст приносил несчастье, старый браконьер уважал его ученость и восхвалял ее.

— Сударь, — сказал Кнапвурст, протягивая свою длинную желтую руку к портретам. — Гюг фон Нидек, первый из своего рода, женился в 832 году на Гедвиге фон Лютцельбург, которая принесла ему в приданое графства Гиромани, Верхний Барр, замки Геральдзек, Тейфельгорн и другие. Гюг-Волк не имел детей от этой первой жены, которая умерла очень молодой в 837 году по Рождеству Христову. Гюг завладел наследством жены и не хотел отдавать его. Произошли страшные битвы между ним и его свояками. Его другая жена — та, что в латах, Гульдина, — помогала ему советами. Это была очень мужественная женщина. Неизвестно, откуда она появилась и к какой фамилии принадлежала; но это не помешало ей спасти Гюга, захваченного в плен Францем фон Лютцельбургом. Он должен был быть повешен в тот же день и уже протянули железный прут между стенными зубцами, как вдруг Гульдина, во главе вассалов графа, которых она увлекла за собой своей храбростью, овладела подземным выходом из замка, спасла Гюга и вместо него велела повесить Франца. Гюг-Волк женился на этой своей второй жене в 842 году; от нее он имел трех детей.

— Итак, — задумчиво проговорил я, — первую из жен звали Гедвигой и потомки Нидека не имеют никакого отношения к ней?

— Никакого.

— Вы вполне уверены в этом?

— Я могу показать вам их генеалогическое древо. У Гедвиги не было детей; у Гульдины, второй жены, было трое.

— Это удивительно!

— Почему?

— Мне казалось, что я заметил некоторое сходство...

— Ах, сходство, сходство, — с резким смехом сказал Кнапвурст. — Вот, взгляните, видите вы эту табакерку из самшитового дерева рядом с большой борзой собакой; на ней представлен мой прадед Ганс Вурст. Нос у него похож на гасильник; подбородок — калошей; у меня нос курносый, а рот приятный; разве это мешает мне быть его внуком?

— Нет, конечно.

— Ну вот, то же и у Нидеков. Я не говорю, что черты лица у кого-нибудь из них не могут походить на черты лица Гедвиги, но родоначальница их — Гульдина. Взгляните на генеалогическое древо, сударь, взгляните.

Кнапвурст и я расстались лучшими друзьями на свете.

V

«Все равно, — говорил я себе, — сходство существует... Приписать ли это случаю?... Случай... что это такое в сущности? Бессмыслица, то, чего не может объяснить человек. Должно быть что-нибудь иное».

Я задумчиво следовал за моим другом Спервером, который продолжал идти по коридору. Портрет Гедвиги, ее простой, наивный образ смешивался в моем уме с образом молодой графини.

Вдруг Гедеон остановился; я поднял глаза; мы находились перед комнатой графа.

— Входи, Фриц, — сказал он мне. — Я пойду давать корм собакам; когда нет хозяина, слуги распускаются; я скоро приду за тобой.

Я вошел; мне больше хотелось видеть графиню Одиль, чем графа; я упрекал себя за это, но нельзя насильно заставить себя интересоваться чем-нибудь. Каково было мое удивление, когда в полутьме алькова я увидел хозяина замка, который, приподнявшись на локте, смотрел на меня с глубо-

ким вниманием. Я так не ожидал этого взгляда, что совершенно потерялся.

— Подойдите, господин доктор, — сказал он тихим, но твердым голосом. — Мой честный Спервер мне часто говорил о вас; мне хотелось познакомиться с вами.

— Будем надеяться, ваше сиятельство, что наше знакомство будет продолжаться при хороших предзнаменованиях, — ответил я. — Еще немного терпения и приступ окончится.

— Терпения у меня достаточно, — сказал он. — Я чувствую, что мой последний час приближается.

— Это — заблуждение, господин граф.

— Нет. Природа дает нам, как последнюю милость, предчувствие нашего конца.

— Сколько раз я видел, как эти предчувствия не оправдывались, — улыбаясь, проговорил я.

Он смотрел на меня странно пристальным взглядом, как смотрят все больные, выражающие сомнение насчет состояния их здоровья. Это трудная минута для доктора; от его манеры держаться зависит нравственная сила больного, взгляд которого проникает до глубины совести доктора. Если больной откроет в душе доктора подозрение близкого конца — все потеряно: нападает уныние, душевные силы упадают; болезнь одерживает верх.

Я хорошо выдержал это испытание; граф, по-видимому, успокоился. Он снова пожал мне руку и опустился на подушки, более спокойный и доверчивый.

Тогда только я заметил графиню Одиль и старую даму, вероятно, ее гувернантку, сидевших в глубине алькова, по другую сторону кровати.

Они приветствовали меня наклонением головы.

Портрет в библиотеке внезапно пришел мне на память.

— Это она, — сказал я себе, — она... первая жена Гюга! Вот этот высокий лоб, эти длинные ресницы, эта невыразимо грустная улыбка... О, сколько таится в улыбке женщины! Не ищите в ней радости счастья. Улыбка женщины скрывает столько интимных страданий, столько беспокойства, столько тревог! Молодой девушкой, женой, матерью — все-

гда надо улыбаться, даже тогда, когда сжимается сердце, душат рыдания... Это твоя роль, женщина, в той большой битве, которую называют человеческим существованием.

Я продолжал раздумывать обо всем этом, пока хозяин Нидека не заговорил снова:

— Если бы Одиль, мое дорогое дитя, захотела сделать то, о чем я прошу ее, если бы она согласилась только дать надежду на исполнение моих желаний, я думаю, ко мне вернулись бы силы.

Я взглянул на молодую графиню; она опустила глаза и, казалось, молилась.

— Да, — продолжал больной, — я возродился бы к жизни; перспектива видеть себя окруженным новой семьей, прижать к сердцу внуков, продолжение нашего рода, оживила бы меня.

Я почувствовал себя растроганным от тихих слов этого человека.

Молодая девушка не отвечала.

Граф смотрел на нее умоляющим взглядом в продолжение минут двух и затем продолжал:

— Одиль, разве ты не хочешь составить счастья своего отца? Боже мой! Я прошу тебя дать только надежду, я не назначаю времени. Я не хочу стеснять твоего выбора. Мы отправимся ко двору; там представятся сотни подходящих партий. Кто не был бы счастлив, получив руку моего дитяти? Ты будешь свободна в выборе.

Он замолчал.

Для чужого нет ничего тягостнее подобных семейных разговоров: при этом сталкивается столько различных интересов, интимных чувств, что уже одна стыдливость заставляет нас избегать таких признаний. Я страдал, хотел бежать, но обстоятельства не позволяли мне сделать это.

— Отец мой, — проговорила Одиль, как бы желая избежать настойчивых просьб больного, — вы выздоровеете; не бо не захочет отнять вас от нас, любящих вас. Если бы вы знали, как горячо я молюсь!

— Ты не отвечаешь мне, — сухо проговорил граф. — Что можешь ты иметь против моего намерения? Разве оно не

справедливо, не естественно? Неужели я должен быть лишен утешений, которые достаются на долю самых несчастных? Разве я оскорбил твои чувства? Хитрил ли я с тобой? Был ли я жесток к тебе?

— Нет, отец мой.

— Отчего же ты не соглашаешься на мои просьбы?

— Мое решение принято... Я посвящаю себя Богу.

Я вздрогнул с головы до ног: столько твердости в таком слабом теле. Она сидела, словно статуя Мадонны в башне Гюга, хрупкая, спокойная, бесстрастная.

В глазах графа показался лихорадочный блеск. Я сделал знак молодой графине, чтобы она дала ему хоть какую-нибудь надежду для успокоения его все возраставшего волнения; она, казалось, не заметила этого.

— Итак, — продолжал он голосом, прерывавшимся от волнения, — ты согласилась бы видеть гибель твоего отца? Достаточно было бы одного твоего слова, чтобы возвратить ему жизнь; ты не скажешь этого слова?

— Жизнь принадлежит не человеку, а Богу, — сказала Одиль, — мое слово ничего не значит.

— Это прекрасные нравственные положения, которыми отделяются от всяких обязанностей, — с горечью проговорил граф. — Но разве Бог, о котором ты беспрестанно говоришь, не сказал: «Чти отца твоего и мать твою?»

— Я почитаю вас, отец мой, — кротко возразила Одиль, — но замужество — не моя обязанность.

Я услышал, как граф заскрежетал зубами. Он сохранил наружное спокойствие; потом быстро обернулся.

— Уходи, — сказал он, — мне больно видеть тебя.

И, весь бледный, обратился ко мне со свирепой улыбкой:

— Доктор, нет ли у вас какого-нибудь сильного яда?.. Такого яда, который убивал бы мгновенно, как молния?.. Это было бы человечно, если бы вы мне дали немного... Если бы вы знали, как я страдаю!

Черты лица его исказились; он был бледен, как мертвец.

Одиль встала и пошла к двери.

— Останься! — прорычал граф. — Я хочу проклясть тебя!..

До этих пор я держался в стороне, не смея становиться между отцом и дочерью; теперь я не мог выдержать.

— Ваше сиятельство! — вскрикнул я. — Ради вашего здоровья, ради справедливости, успокойтесь, от этого зависит ваша жизнь!

— Что жизнь для меня? Что будущее? Ах, зачем у меня нет ножа, чтобы покончить с собой? Дайте мне умереть!

Его волнение возрастало с каждой минутой. Я предвидел момент, когда, вне себя от гнева, он бросится на свое дитя, чтобы уничтожить его. Девушка, спокойная, бледная, стала на колени на пороге. Дверь была открыта, и я увидел позади молодой девушки Спервера. Щеки у него конвульсивно поддергивались; вид был потерянный. Он подошел на цыпочках и, наклонившись к Одиль, оказал ей:

— Графиня!.. Графиня Одиль!.. Граф такой хороший человек! Если бы вы только сказали: может быть... посмотрим... позже!

Она ничего не ответила и продолжала стоять в той же позе.

Я дал графу Нидеку несколько капель опия; он опустил-ся с глубоким вздохом на подушки и погрузился в глубокий, тяжелый сон, дыхание его стало ровнее.

Одиль встала; ее старая гувернантка, не произнесшая ни слова, вышла вместе с ней. Спервер и я смотрели им вслед. Они медленно удалялись. Какое-то спокойное величие выразалось в походке графини; она казалась живым воплощением исполненного долга.

Когда она исчезла в глубине коридора, Гедеон обернулся ко мне:

— Ну, Фриц, — проговорил он серьезным тоном, — что думаешь ты обо всем этом?

Я молча опустил голову: твердость духа молодой девушки пугала меня.



VI

Спервер негодовал.

— Вот оно, счастье великих мира сего! — вскричал он, выходя из комнаты графа. — Стоит быть графом Нидеком, иметь замки, леса, пруды, лучшие поместья в Шварцвальде для того, чтобы молодая девушка говорила вам своим нежным голосом: «Ты хочешь? Ну, а я не хочу! Ты меня просишь? А я отвечаю: — Это невозможно!» Боже мой! Какое горе! Не лучше ли в сто раз родиться сыном дровосека и жить спокойно своим трудом? Пойдем прочь отсюда, Фриц. Я задыхаюсь.... мне нужно вздохнуть чистым воздухом.

Он взял меня под руку и увел в коридор.

Было около девяти часов. Погода, такая чудесная утром, при восходе солнца, стала облачной. Холодный ветер наносил снег на окна, и я с трудом мог разглядеть вершины соседних гор.

Мы собирались спуститься с лестницы, которая шла на главный двор, и на повороте коридора столкнулись нос к носу с Тоби Оффенлохом.

Почтенный дворецкий задыхался.

— Эй! — сказал он, загораживая нам дорогу тростью. — Куда это вы так бежите, черт возьми!.. А завтрак?

— Завтрак? Какой завтрак? — спросил Спервер.

— Как какой завтрак? Ведь мы же согласились завтракать сегодня утром с господином Фрицем.

— Правда? Я и забыл.

Оффенлох разразился смехом, растянув до ушей свой большой рот.

— Ха, ха, ха! — кричал он. — Вот так штука! А я-то боялся опоздать. Ну, ну, поторопитесь! Каспер ждет вас наверху. Я велел ему накрыть в вашей комнате; там нам будет удобнее. До свидания, господин доктор.

Он протянул мне руку.

— Вы не идете с нами?

— Нет, я должен доложить госпоже графине, что барон Циммер-Блудерик желает засвидетельствовать ей свое почте-

ние, прежде чем покинуть замок.

— Барон Циммер?

— Да, тот незнакомец, что приехал вчера ночью.

— А! Ну, хорошо, поторопитесь.

— Будьте спокойны... только откупорю бутылки и явлюсь.

Он удалился, хромая.

Слово «завтрак» совершенно изменило направление мыслей Спервера.

— Черт возьми! — сказал он, идя ко мной обратно по коридору. — Лучше всего выпить хорошенько, чтобы прогнать черные мысли. Я доволен, что накрыли в моей комнате; под огромными сводами фехтовальной залы, у маленького стола, кажешься мышью, которая грызет орех в углу церкви. Ну, вот мы и пришли, Фриц; послушай, как ветер завывает в бойницах. Через полчаса будет страшный ураган.

Он толкнул дверь. Маленький Каспер, барабанивший пальцами по стеклу, казалось, обрадовался нам. У этого человечка были белокурые, похожие па паклю, волосы, худощавая фигура и вздернутый нос. Спервер сделал из него своего фактотума; Каспер разбирал и чистил его оружие, починял уздечки и подпруги его лошадей, давал корм собакам во время его отсутствия и наблюдал на кухне за приготовлением его любимых блюд. В торжественных случаях он исполнял обязанности дворецкого при Спервере, как Тоби при графе. Теперь, с салфеткой под мышкой, он с важностью откупоривал длинные бутылки с рейнвейном.

— Каспер, — сказал Спервер, входя в комнату, — я доволен тобой. Вчера все было хорошо: косуля, рябчики и щука. Я справедлив; люблю всегда громко сказать, что человек исполнил свою обязанность. Сегодня тоже: эта кабанья голова на белом вине имеет очень вкусный вид, а раковый суп распространяет восхитительный запах. Не правда ли, Фриц?

— Конечно.

— Ну, так наливай нам стаканы! Ты достоин повышения.

Каспер опускал глаза со скромным видом; он краснел и, по-видимому, упивался похвалами своего хозяина.

Мы сели, и я восхищался, как старый браконьер, который бывал некогда счастлив, когда мог приготовить себе сам картофельный суп в своей хижине, разыгрывал теперь роль важного барина. Будь он прирожденным графом Нидеком, он не мог бы держать себя за столом более благородным и достойным образом. По одному его взгляду Каспер подавал требуемое им блюдо или откупоривал нужную бутылку.

Мы только что собрались напасть на кабанью голову, когда явился Тоби. Но он был не один. К великому нашему удивлению, мы увидели за ним барона Циммер-Блудерика и его берейтора.

Мы встали. Молодой барон пошел навстречу нам, сняв шляпу. У него была красивая голова с бледным, гордым лицом, окаймленным длинными черными волосами. Он остановился перед Спервером.

— Сударь, — сказал он с чисто саксонским акцентом, не подражаемом ни на каком другом диалекте, — я обращаюсь к вашему знанию этой местности. Госпожа графиня Нидек уверила меня, что никто лучше вас не может дать мне сведений об этой горе.

— Я думаю, сударь, — ответил с поклоном Спервер. — Я к вашим услугам.

— Важные обстоятельства заставляют меня отправиться, несмотря на бурю, — ответил барон, указывая на занесенные снегом окна. — Мне хотелось бы добраться до Вальдгорна, который находится в шести милях отсюда.

— Это будет трудно, милостивый государь, все дороги занесены снегом.

— Я знаю... но так нужно.

— Вам необходим проводник: если желаете, пойду я или Себальт Крафт, здешний главный ловчий; он отлично знает гору.

— Благодарю вас за предложение, сударь, но я не могу принять его. Мне достаточно будет указаний.

Спервер поклонился, подошел к одному из окон и распахнул его. Сильный порыв ветра донес снег до коридора и захлопнул дверь.

Я оставался на своем месте у кресла, положив руку на его спинку; маленький Каспер спрятался в угол. Барон и его берейтор приблизились к окну.

— Господа, — воскликнул Спервер. Он говорил громко, чтобы заглушить завывания ветра, — вот карта здешней местности. — Он протянул руку. — Если бы погода была ясная, я пригласил бы вас подняться на сигнальную башню; мы увидели бы бесконечную даль Шварцвальда... но к чему это? Отсюда вам видно острие Альтенбурга, а дальше, за той белой вершиной, Вальдгорн, где беснуется ураган. Ну, так надо идти прямо к Вальдгорну. Там — если позволит снег — с вершины скалы в виде митры, которую называют «Расколотой скалой», вы увидите три гребня: Беренкопф, Гейерштейн и Трифельс. Вам нужно идти правее, к этому последнему. Долину Рее пересекает поток, но теперь он, должно быть, покрыт льдом. Во всяком случае, если вам невозможно будет идти дальше, подымаясь налево по берегу, вы найдете на половине дороги пещеру, так называемую «Полую скалу». Вы проведете там ночь и завтра, когда, по всем вероятиям, ветер спадет, вы будете иметь перед глазами Вальдгорн.

— Благодарю вас, сударь.

— Если бы вам удалось встретить угольщика, он мог бы указать вам брод через поток, — сказал Спервер, — но я сильно сомневаюсь, чтобы нашелся кто-нибудь в горах в такую погоду. Отсюда трудно объяснить. Старайтесь только обойти подножие Беренкопфа; спускаться с другой стороны невозможно: там отвесные скалы.

Во время этих объяснений я наблюдал за Спервером, дававшим их точно, ясным, отрывистым голосом, и за молодым бароном, который слушал его со странным вниманием. По-видимому, никакие препятствия не пугали его. Старый берейтор казался не менее решительным.

В ту минуту, когда они хотели отойти от окна, стало как будто яснее; то был один из тех моментов, когда ветер быстрым движением подымает массы снега, словно развевающиеся полотнища занавеси. Взгляд мог проникнуть дальше: видны стали три остроконечные вершины за Альтен-

бургом. Обрисовались детали, о которых говорил Спервер; потом снова все смешалось.

— Хорошо, — сказал барон, — я видел цель моего путешествия и надеюсь достигнуть ее, благодаря вашим объяснениям.

Спервер молча поклонился. Молодой человек и берейтор поклонились нам и медленно вышли из комнаты.

Гедеон запер окно и обратился к Тоби и ко мне:

— Нужно быть одержимым, чтобы выходить в такую погоду, — улыбаясь, проговорил он. — Мне совестно было бы выгнать волка. Впрочем, это касается их одних. Лицо молодого человека мне очень нравится; старика также. Выпьем-ка! За ваше здоровье, господин Тоби.

Я подошел к окну. В то время, как барон Циммер и его берейтор садились на лошадей на большом дворе, я заметил, несмотря на снег, носившийся в воздухе, что налево, в башенке с высокими окнами, приоткрылось окно, и бледная графиня бросила долгий взгляд на молодого человека.

— Что ты там делаешь, Фриц? — крикнул Спервер.

— Ничего, смотрю на лошадей этих господ.

— Да, чудесные животные; я видел их сегодня утром в конюшне.

Всадники поскакали. Занавес задвинулся.

VII

Прошло несколько дней без всяких перемен. Моя жизнь в Нидеке была очень однообразна; утром всегда раздавались грустные звуки рожка Себальта; потом посещение графа, завтрак, бесконечные размышления Спервера о «Чуме», немолчная болтовня Марии Лагут, господина Тоби и всего сонма слуг, у которых не было других развлечений, кроме выпивки, игры в карты, куренья и сна. Только Кнапвурст вел сносную жизнь; он по уши уходил в свои хроники и, дрожа от холода, с покрасневшим носом, неумоимо продолжал свои любопытные поиски.

Можно себе представить, как я скучал. Спервер раз десять показывал мне конюшни и собачью конуру; собаки начинали привыкать ко мне. Я знал наизусть все грубые шутки дворецкого после выпивки и ответы Марии Лагут. Меланхолия Себальта овладевала мной все более и более; я охотно поиграл бы на его рожке, чтобы излить горам мою жалобу, и постоянно обращал мой взор к Фрейбургу.

Болезнь господина Иери-Ганса протекала своим чередом. Это было мое единственное серьезное занятие. Все, что рассказывал мне Спервер, подтвердилось: иногда граф просыпался в испуге, приподымался на кровати и, вытянув шею, с блуждающими глазами, тихо бормотал:

— Она идет! Она идет!

Гедеон качал головой и подымался на сигнальную башню; но напрасно смотрел он направо и налево: «Чума» оставалась невидимой.

Размышляя об этой странной болезни, я пришел к заключению, что владелец Нидека — сумасшедший; странное влияние старухи на его ум, переходы от бреда к ясности мысли — все поддерживало меня в этом убеждении.

Доктора, занимавшиеся изучением умопомешательства, знают, что периодическое безумие не является редкостью; у некоторых оно проявляется несколько раз в год, — весной, осенью, зимой; у других оно проявляется только раз в год. Я знаю в Фрейбурге одну старую даму, которая, в продолжение тридцати лет, сама предчувствует приближение приступа. Она является в сумасшедший дом. Ее запирают. Несчастная видит каждую ночь воспроизведение ужасных сцен, свидетельницей которых она была в молодости: она дрожит под рукой палача; она покрыта кровью жертв; она стонет так, что заплакали бы камни. Через несколько недель припадки становятся реже. Ей возвращают свободу с уверенностью, что на будущий год она снова появится.

«Граф Нидек находится в подобном же положении, — говорил я себе, — очевидно, существует какая-то, никому не известная, связь между ним и “Чумой”. Как знать? Эта женщина была молода... Должно быть, красива». И настроенное воображение создавало целый роман. Только я никому

не говорил о нем. Спервер никогда не простил бы мне, что я мог заподозрить его господина в любовных отношениях со старухой; что касается графини Одиль, одно слово «сумасшествие» могло нанести ей ужасный удар.

Бедная молодая девушка была очень несчастна; ее отказ от замужества так рассердил графа, что он с трудом выносил ее присутствие; он с горечью упрекал ее за непослушание и распространялся насчет неблагодарности детей. Иногда после посещения Одиль у него бывали сильные припадки. Дело дошло до того, что я счел нужным вмешаться. Я подождал однажды графиню в передней и умолял ее отказать от ухода за графом, но встретил, против ожидания, необъяснимое упорство. Несмотря на все мои замечания, она хотела по-прежнему ухаживать за отцом.

— Это мой долг, — проговорила она решительным тоном, — и ничто не может избавить меня от него.

— Сударыня, — сказал я, становясь перед дверью комнаты больного, — положение медика налагает на него также известный долг и как бы он ни был тяжел — честный человек должен исполнить его: ваше присутствие убивает графа.

Всю жизнь буду помнить внезапную перемену в лице Одиль.

При этих словах вся кровь отлила у нее к сердцу; она стала бледна, как мрамор, ее большие голубые глаза, устремленные на мои глаза, казалось, хотели прочесть в глубине моей души.

— Возможно ли это?.. — пробормотала она. — Вы можете сказать это по чести... Не правда ли, сударь?

— Да, сударыня, по чести.

Наступило долгое молчание. Потом она проговорила задышающим голосом:

— Хорошо. Да будет воля Господня.

И удалилась, склонив голову.

На следующий день, около восьми часов утра, я расхаживал в башне Гюга, раздумывая о болезни графа, исхода которой не видел, и о моих клиентах в Фрейбурге, которых я рисковал потерять из-за слишком долгого отсутствия.

Три легких удара в дверь вывели меня из раздумья.

— Войдите!

Дверь отворилась и на пороге показалась Мария Лагут. Она сделала мне глубокий реверанс.

Приход доброй женщины был неприятен мне; я хотел было попросить ее оставить меня одного, но задумчивое выражение ее лица удивило меня. Она набросила на плечи большую красную с зеленым шаль. Опустив голову, она кусала губы; но более всего меня удивило, что, войдя в комнату, она отворила дверь, чтобы убедиться, не шел ли кто-нибудь за ней.

«Чего она от меня хочет? — подумал я. — Что значат эти предосторожности?»

Я был заинтригован.

— Господин доктор, — наконец проговорила она, подходя ко мне, — прошу извинения, что беспокою вас так рано, но я должна сказать вам нечто серьезное.

— Говорите, сударыня. В чем дело?

— Дело касается графа.

— А!

— Да, сударь. Вы, конечно, знаете, что сегодня ночью я дежурила у него.

— Знаю. Садитесь, пожалуйста.

Она уселась в большое кожаное кресло передо мной и я с удивлением заметил энергичное выражение этого лица, показавшегося мне таким смешным в вечер моего приезда в замок.

— Господин доктор, — начала она после минутного молчания, устремив на меня свои большие черные глаза, — прежде всего должна сказать, что я женщина не робкая; я видела столько ужасного в жизни, что нет ничего, что могло бы удивить меня: когда побываешь при Маренго, Аустерлице, в Москве перед тем, как очутиться в Нидеке, то страхи растеряешь в пути.

— Я верю вам, сударыня.

— Я говорю это не из хвастовства, а для того, чтобы вы поняли, что я не сумасшедшая и мне можно поверить, когда я говорю: «Я видела то-то и то-то».

«Что такое она сообщит мне, черт возьми?» — спрашивал я себя.

— Ну, так вот, — продолжала Мария Лагут, — вчера вечером, между девятью и десятью часами, я собиралась лечь спать. Пришел Оффенлох и сказал мне: «Мария, тебе надо дежурить эту ночь у графа». Сначала это удивило меня. «Как, дежурить у графа? Разве барышня не будет сама сидеть у него?» — «Да, не будет; барышня больна и ты должна заметить ее». Больна!.. Бедное, дорогое дитя! Я была уверена, что дело кончится этим. Я говорила ей это сотни раз, сударь, но что делать? Когда молод, все кажется нипочем, и к тому же это ее отец. Ну, я беру свое вязанье, прощаюсь с Тоби и отправляюсь в комнату его сиятельства. Спервер, поджидавший меня, ушел спать. Ну вот! Я одна.

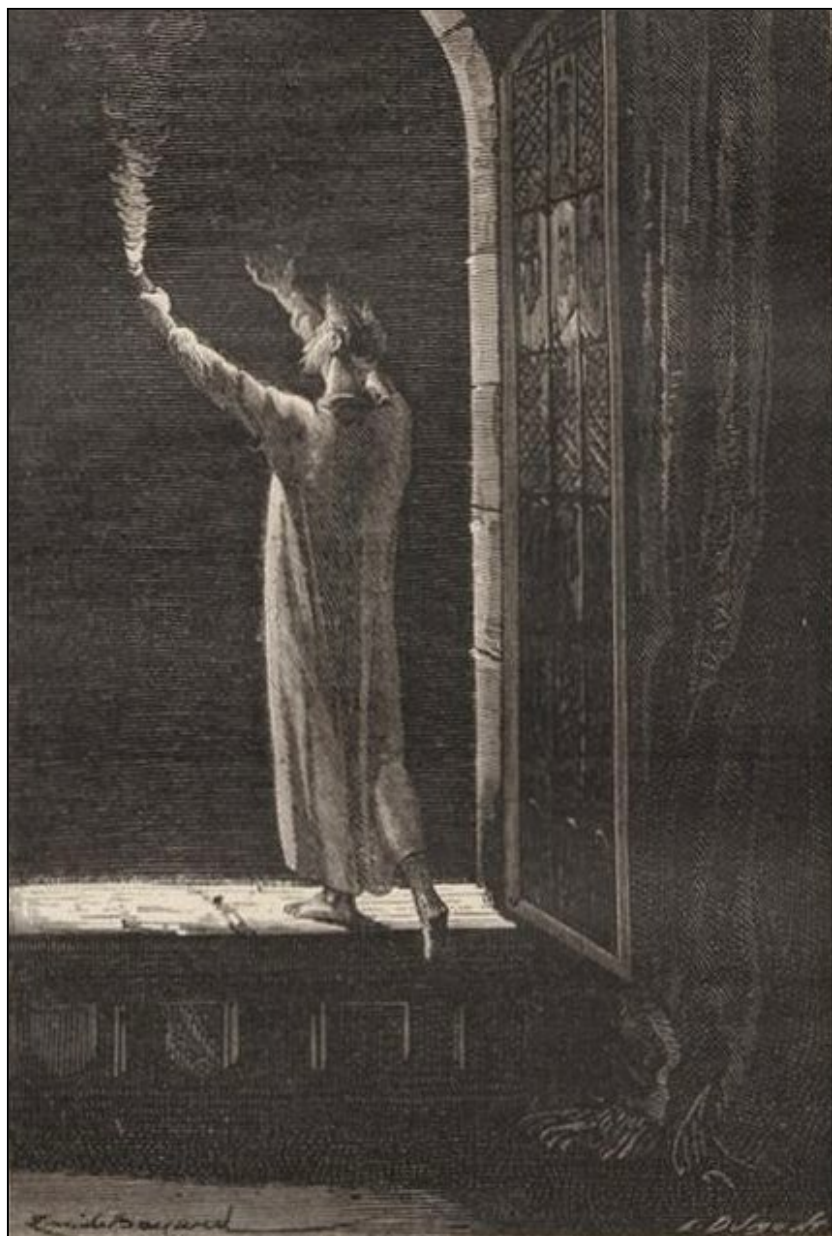
Тут добрая женщина остановилась, медленно понюхала табак и, казалось, собиралась с мыслями. Я весь обратился в слух.

— Было около половины одиннадцатого, — начала она, — я работала, сидя у кровати; по временам я подымала полог, чтобы видеть, что делает граф; он не двигался; он спал сладким сном ребенка. Все шло хорошо до одиннадцати часов. Тут я почувствовала усталость. Когда становишься старой, господин доктор, то ничего не поделаешь, падаешь помимо своей воли; да мне ничего и на ум не приходило; я говорила себе: «Он проспит до утра». К полночи ветер прекратился; большие окна перестали дрожать. Я встала, чтобы посмотреть, что делается на дворе. Ночь была темная, как бутылка чернил; наконец, я снова села в кресло, взглянула еще раз на больного; вижу, он не изменил своего положения; я взяла снова вязанье; но через несколько минут заснула... заснула... можно сказать... хорошо! Кресло было мягкое, как пух, в комнате тепло... Что делать?.. Я спала около часа, как вдруг проснулась от притока свежего воздуха. Открываю глаза и что же вижу! Большое среднее окно открыто, занавеси отдернуты, а граф, в рубашке, стоит на окне!

— Граф!

— Да.

— Это невозможно... Он еле может двигаться.



— Я не спорю! Но я видела его, как вижу вас: он держал в руке факел; ночь была темная и воздух так тих, что пламя факела не колебалось.

Я в изумлении смотрел на Марию-Анну.

— Сначала, — продолжала она после минутного молчания, — при виде этого человека с голыми ногами в такой позе я пришла в такое состояние... что хотела крикнуть... но потом подумала: «Может быть, он лунатик! Если ты крикнешь... Он проснется... упадет... он погибнет!» Ну, хорошо, я молчу и смотрю во все глаза... Вот он медленно подымает факел, потом опускает его... подымает и опускает, как будто давая сигнал; потом он бросает факел в ров, закрывает окно, задергивает занавеси, проходит мимо, не видя меня, и ложится, бормоча Бог знает что!

— Вы уверены, что видели все это, сударыня?

— Еще бы!..

— Странно!

— Да, я знаю; но это так. Ах! В первую минуту это так взволновало меня... Потом, когда я увидела его лежащим, как ни в чем не бывало, на кровати, со сложенными на груди руками, я сказала себе: «Мария-Анна, тебе приснился дурной сон, не что иное», — и подошла к окну; но факел еще горел; он упал в чашу, несколько влево от третьего подземного входа, и блестел, как звездочка: отрицать было невозможно.

В продолжение нескольких секунд Мария Лагут молча смотрела на меня.

— Вы, конечно, понимаете, сударь, что с этой минуты мне слышалось что-то за креслом. Это не был страх, но беспокойство; это мучило меня! Рано утром я побежала будить Оффенлоха и послала его к графу. Проходя по коридору, я заметила, что первого факела не было в кольце; я сошла вниз и нашла его около маленькой тропинки, ведущей в лес. Вот он.

Она вынула из-под передника обгорелый факел и положила его на стол.

Я был поражен.

Как человек, которого я видел накануне таким слабым, истощенным, мог встать, пойти, открыть и закрыть тяжелое окно? Что означал этот сигнал в ночи? Мне казалось, что я присутствовал с широко раскрытыми глазами при этой странной, таинственной сцене, и мысль моя невольно перенеслась к «Чуме». Наконец, я пробудился от этого внутреннего созерцания и увидел, что Мария Лагут встала и собирается уходить.

— Сударыня, вы хорошо сделали, что предупредили меня, — сказал я, — благодарю вас. Вы никому не рассказывали об этом случае?

— Никому, сударь, такие вещи говорятся только священнику и доктору.

— Ну, я вижу, что вы молодец.

Мы обменивались этими словами на пороге башни. В эту минуту Спервер со своим другом Себальтом показался в глубине галереи.

— Эй, Фриц, — крикнул он, проходя по куртине, — какие я тебе скажу новости!

— Ну... Еще новое, — проговорил я про себя. — Право, дьявол мешается в наши дела.

Мария Лагут исчезла. Старый браконьер и его товарищ вошли в башню.

VIII

На лице Спервера выражался сдержанный гнев; лицо Себальта носило выражение горькой иронии. Почтенный ловчий, поразивший меня в день моего приезда в Нидек своим меланхолическим видом, был худ и сух, как щепка; одет он был в охотничью куртку, перетянутую кушаком, на котором висел нож с роговой ручкой; высокие кожаные гетры заходили за колени; рог висел на перевязи. На голове у него была широкая фетровая шляпа с пером цапли. Его профиль, заканчивавшийся рыжей бородкой, напоминал косулю.

— Да, — продолжал Спервер, — хорошие ты узнаешь новости.

Он бросился на стул и с отчаянием схватился за голову. Себальт спокойно снял через голову рог и положил его на стол.

— Ну, Себальт! — крикнул Гедеон. — Говори же.

Потом, взглянув на меня, он прибавил:

— Колдунья бродит вокруг замка.

Эта новость была бы мне совершенно безразлична до сообщения Марии Лагут, но теперь она поразила меня. Между графом Нидеком и старухой были какие-то отношения; я не знал, в чем они состояли; нужно было узнать во что бы то ни стало.

— Одну минутку, господа, одну минутку, — сказал я Сперверу и его другу-ловчему. — Прежде всего я хотел бы знать, откуда является колдунья?

Спервер, пораженный, взглянул на меня.

— Бог знает, откуда, — сказал он.

— Хорошо. В какое время она постоянно появляется перед Нидеком?

— Я уже говорил тебе: ежегодно, за неделю до Рождества.

— И остается?

— От двух до трех недель.

— А раньше ее не видят? Хотя бы случайно? И позже также?

— Не видят.

— Так нужно непременно схватить ее, — воскликнул я, — это неестественно! Нужно узнать, чего она хочет, кто она, откуда приходит.

— Схватить ее! — сказал ловчий со странной улыбкой, — схватить!

И он с грустным видом покачал головой.

— Мой бедный Фриц, — сказал Спервер, — твой совет, без сомнения, хорош, но это легче сказать, чем сделать. Если бы можно было выстрелить в нее — отлично; удалось бы и подойти к ней; но граф противится этому; а взять ее иным способом... попробуй-ка схватить коосулю за хвост! Выслу-

шай Себальта; увидишь сам.

Ловчий, сидевший у края стола, положив одну длинную ногу на другую, взглянул на меня и сказал:

— Сегодня утром, спустившись с Альтенбурга, я пошел нижней дорогой в Нидек. По краям снег лежал отвесной стеной. Я шел, ни о чем не думая, как вдруг в глаза мне бросился какой-то след; он был глубок и шел через дорогу; для этого нужно было спуститься по откосу, потом подняться влево. Это не был ни след щетки зайца, который не ступает так глубоко, ни вилка кабана, ни трехлистник волка, а глубокая яма, настоящая дыра. Я останавливаюсь... разрываю снег, чтобы видеть основание следа, и нападаю на след колдуньи...

— Вы вполне уверены в этом?

— Как «вполне уверен»? Я знаю ногу старухи лучше, чем ее лицо. Ведь я, сударь, всегда опускаю глаза к земле, я узнаю людей по их следу... Да тут не ошибся бы и ребенок.

— Какое же особое отличие этой ноги?

— Она мала так, что ее можно спрятать в руке, хорошо сложена, пятка немного длинна, очертания отчетливы, большой палец очень близко к другим; все пальцы сжаты, как будто в полусапожках. Нога, можно сказать, дивная. Лет двадцать тому назад я влюбился бы в такую ногу. Каждый раз, что я ее вижу, она производит на меня сильное впечатление... Боже мой, возможно ли, что такая хорошенькая нога принадлежит колдунье!

И, сложив руки, он с печальным видом принялся разглядывать каменный пол.

— Ну, дальше, Себальт, — нетерпеливо проговорил Спервер.

— Да, правда... Ну так вот: я узнал след и пошел по нему. Я надеялся застать старуху дома, но увидите, какой путь она заставила меня проделывать. Я взлез на откос тропинки на расстоянии двух выстрелов от Нидека; спустился с него, идя все время по следу направо, вдоль долины Рее. Вдруг след перескакивает через ров в лес. Отлично; я все же иду по следу, но, взглянув случайно несколько влево, замечаю другой след, идущий по следу старухи. Я останавливаюсь...

Кто это? Спервер или Каспер Трумпф?.. Или кто-нибудь другой? Я приближаюсь — и представьте себе мое удивление. То не был след кого либо из местных жителей! Я знаю ноги всех в Шварцвальде, начиная от Фрейбурга, до Нидека. Эта нога не походила на наши. Сапог — так как это был сапог — тонкий и изящный, со шпорами, оставлявшими за собой тонкую бороздку — вместо того, чтобы быть круглым в конце, имел квадратную форму; подошва, тонкая и без гвоздей, сгибалась при каждом шаге. Походка, быстрая и решительная, могла принадлежать только человеку от двадцати до двадцати пяти лет. Я сразу заметил отпечатки швов голенища на снегу; никогда я не видел такой хорошей работы.

— Кто бы это мог быть?

Себальт пожал плечами, развел руками и замолчал.

— Кому могло быть нужно идти за старухой? — обратился я к Сперверу.

— Эх, только дьявол мог бы ответить на этот вопрос, — сказал он с отчаянием.

Несколько минут мы сидели, погруженные в раздумье.

— Я снова пошел по следу, — заговорил наконец Себальт. — Он поднялся с другой стороны на отлогости елового леса, потом обогнул Рош-Фандю. Я говорил про себя: «Старая чума, если бы было много дичи твоего сорта, ремесло охотника было бы невыносимым; лучше бы работать, как негру». Мы — оба следа и я — добираемся до вершины Шнееберга. Тут дул ветер, снег доходил мне до бедер; все равно, нужно было переходить. Я дохожу до берегов Штейнбахского потока. Нет более следа старухи! Я останавливаюсь и вижу, что сапоги неизвестного господина, потоптавшись направо и налево, кончили тем, что пошли по направлению к Тифенбаху; дурной знак! Я смотрю на другую сторону потока — ничего! Старая негодяйка поднялась или спустилась по реке, пройдя по воде, чтобы не оставить следа. Куда идти? Направо или налево? В нерешительности я вернулся в Нидек.

— Ты забыл рассказать о ее завтраке, — сказал Спервер.

— Ах, правда, сударь. Я видел, что она разводила огонь у подножия Рош-Фандю... Кругом все место черное. Я положил руку, думая, что зола еще теплая; тогда было бы ясно,

что колдунья недалеко ушла; но зола была холодна, как лед. Вблизи я заметил на кустике протянутые силки...

— Силки?..

— Да, видно, колдунья умеет ставить западни... Туда попал заяц; место, где он лежал во всю длину, еще отпечатывалось на снегу. Колдунья разводила огонь, чтобы изжарить его; она хорошо угостилась.

— И подумать только, — крикнул Спервер, в бешенстве ударяя кулаком по столу, — что эта старая злодейка ест мясо, тогда как в нашей деревне многие честные люди питаются картофелем! Вот что возмущает меня, Фриц! Ах, если б она только попалась мне!

Но он не успел выразить своей мысли; он побледнел, и все мы трое замерли, смотря друг на друга с открытыми ртами.

Крик — жалобный крик волка в холодные зимние дни... крик, который нужно слышать, чтобы понять все то скорбное и зловещее, что содержит в себе жалоба животного — такой крик раздался вблизи нас! Он подымался спиралью по нашей лестнице, как будто животное было на пороге башни.

Часто говорят о рычании льва, раздающемся по вечерам в громадной пустыне; но если знойная, обожженная солнцем, каменистая Африка имеет свой голос, раздающийся как отдаленный грохот грома, то и в обширных снежных равнинах севера есть также свой странный голос, подходящий к грустной зимней картине, где все дремлет, ни один лист не шепчет; голос этот — вой волка.

Лишь только раздался этот жалобный крик, на него ответил грозный голос шестидесяти собак в Нидеке. Вся свора разразилась сразу: грубый лай ищеек, быстрое тьяканье шпицев, визг болонок, меланхолический, плачевный голос такс — все это сливалось с звоном цепей, со стуком потрясаемых от ярости конур... и над всем этим непрерывный, однообразный вой волка: то был адский концерт.

Спервер соскочил с места, выбежал на площадку и устремил взгляд на подножие башни.

— Уж не упал ли волк в ров? — сказал он.

Но вой раздавался изнутри.

Тогда он крикнул нам:

— Фриц, Себальт, идите, идите!

Мы сбежали с лестницы, перескакивая через четыре ступеньки сразу, и вошли в фехтовальную залу. Тут мы слышали только вой волка под гулками сводами: отдаленный лай своры становился задыхающимся, собаки хрипли от ярости, их цепи запутывались; может быть, они душили их.

Спервер вынул свой охотничий нож, Себальт сделал то же; они пошли впереди меня в галерею.

Вой вел нас в комнату больного. Спервер перестал говорить... он ускорил шаги. Себальт вытягивал свои длинные ноги. Я чувствовал, что дрожь пробегает у меня по телу; предчувствие говорило нам о чем-то отвратительном.

Весь дом был на ногах: сторожа, егеря, повара, все бежали куда попало, спрашивая друг друга:

— Что случилось? Откуда эти крики?

Не останавливаясь, мы добежали до коридора перед комнатой хозяина замка; на лестнице мы встретили достойную Марию Лагут. Только у нее хватило мужества войти в комнату раньше нас. Она несла на руках молодую графиню. Одиль была в обмороке; голова ее запрокинулась; волосы распустились.

Мы прошли так быстро, что еле заметили эту трогательную сцену. Впоследствии она припомнилась мне, и бледное лицо Одиль, лежавшее на плече старухи, кажется мне теперь трогательным изображением агнца, без жалобы, заранее убитого страхом, подставляющего под нож свое горло.

Наконец, мы у комнаты графа.

Вой раздавался за дверью.

Мы молча переглянулись, не пробуя объяснить себе присутствие в комнате такого гостя. У нас не было времени; мысли мешались у нас в уме.

Спервер быстро толкнул дверь и с охотничьим ножом в руке хотел броситься в комнату; но остановился на пороге неподвижно, словно окаменевший.

Никогда мне не доводилось видеть выражения такого изумления на лице человека; глаза у него, казалось, хотели



выскочить из орбит, большой худой нос опустился над открытым ртом.

Я заглянул через его плечо и похолодел от ужаса.

Граф Нидек сидел на корточках на постели, с блестящими глазами, вытянув руки, опустив голову под красным пологом, и испускал жалобный вой.

Волк... был он.

Плоский лоб, остроконечное лицо, рыжеватая борода, щетинившаяся на щеках, длинная худая спина, нервные ноги, лицо, крик, поза — все, все выдавало дикого зверя, скрывавшегося под маской человека!

По временам он останавливался на секунду, чтобы прислушаться, и покачивал головой, отчего высокий полог колебался, как листва; потом слова принимался за свою грустную песнь.

Спервер, Себалът и я стояли, как прикованные; мы сдерживали дыхание, охваченные ужасом.

Вдруг граф умолк. Как дикий зверь, который чует по ветру, он поднял голову и прислушался.

Там!.. Там!.. Под высокими елями леса, осыпанными снегом, раздался крик; сначала слабый, он постепенно усиливался и скоро он возвысился над лаем своры: волчица отвечала волку!

Спервер обернулся ко мне с бледным лицом; протянув руку по направлению к горе, он тихо сказал мне:

— Слышишь?.. Старуха!

А граф, неподвижный, с высоко поднятой головой, вытянутой шеей, открытым ртом, горящими глазами, казалось, понимал то, что ему говорил далекий голос, затерявшийся посреди пустынных ущелий Шварцвальда, и лицо его светилось какой-то страшной радостью.

В эту минуту Спервер голосом, полным слез, крикнул:

— Граф Нидек, что вы делаете?

Граф упал, как пораженный громом. Мы бросились ему на помощь.

Начался третий приступ — он был ужасен.

Граф Нидек умирал!

— Что может сделать искусство в этой великой борьбе между жизнью и смертью! В этот последний час, когда невидимые борцы схватываются, задыхаясь, по очереди падают и поднимаются, что может сделать врач?

Смотреть, слушать и дрожать!

Иногда борьба как будто прекращается; жизнь удаляется в свою крепость; отдыхает, черпает мужество отчаяния. Но вскоре враг следует за ней. Тогда она бросается навстречу ему, снова схватывается с ним. Начинается более горячая битва, близкая к роковому концу.

А больной лежит беспомощно, покрытый холодным потом, с неподвижным взором, бессильно опущенными руками. Его дыхание, то короткое, затрудненное, тревожное, то продолжительное, спокойное и глубокое, показывает различные фазы этой ужасной битвы.

А присутствующие переглядываются. Они думают: в один прекрасный день такая же борьба наступит и для нас. И победительница-смерть унесет нас в свою пещеру, как паук уносит муху. Но жизнь... она... душа улетит к другим небесам, восклицая: «Я исполнила свой долг, я мужественно боролась». А смерть, смотря снизу, как она подымается, не сможет последовать за ней: у нее останется только труп! О, великое утешение! — уверенность в бессмертии, надежда на правосудие, какой варвар смог бы вырвать вас из души человека?

К полуночи положение графа Нидека казалось мне безнадёжным; начиналась агония; сильный, неправильный пульс временами упал, останавливался, потом внезапно поднимался.

Мне оставалось только быть свидетелем, как умрет этот человек... я падал от усталости; все, что может сделать искусство, я сделал.

Я сказал Сперверу, чтобы он остался дежурить и закрыл глаза своему господину.

Бедняга был в отчаянии. Он упрекал себя в своем невольном восклицании: «Граф Нидек, что вы делаете?» — и рвал волосы от отчаяния.

В камине горел славный огонь. Я бросился одетым на постель и скоро сон охватил меня — тяжелый, беспокойный, который, так и кажется, должен прерваться стонами и слезами.

Я спал, обернувшись лицом к очагу, свет которого струился на каменный пол.

Через час огонь заглох и, как бывает, оживая, освещал стены своими большими красными крылами и утомлял мои веки.

В полудремоте я полуоткрыл глаза, чтобы видеть, откуда появились эти полосы света и мрака.

Самый странный сюрприз ожидал меня.

На фоне очага, еле освещавшегося несколькими договорившими головешками, вырисовывался черный профиль: силуэт «Чумы».

Она сидела на корточках на табурете и молча грелась.

Сначала я подумал, что это иллюзия — естественное следствие моих размышлений за последние дни. Я приподнялся на локте и следил глазами, которые стали круглыми от страха.

Это была она; спокойная, неподвижная, она сидела, охватив колени руками, такая, какой я видел ее на снегу, с длинной шеей в складках, орлиным носом, сжатыми губами. Мне стало страшно.

Как попала сюда старуха? Как могла она пробраться в эту башню, возвышавшуюся над пропастями?

Все, что мне рассказывал Спервер о ее таинственном могуществе, показалось мне справедливым! Сцена, когда Лиэверле ворчал у стены, промелькнула, как молния, перед моими глазами! Я спрятался в алькове и, еле дыша, смотрел на неподвижный силуэт, как мышь смотрела бы на кошку из глубины своей норки.

Старуха была неподвижна, как скульптурные украшения камина; губы ее что-то бормотали.

Сердце у меня сильно билось; страх удваивался с минуты на минуту благодаря молчанию и неподвижности этого сверхъестественного видения.

Так продолжалось около четверти часа. Вдруг огонь охватил еловую ветку; она вспыхнула с треском, извиваясь, и яркие лучи осветили глубину залы.

Этой вспышки было достаточно для того, чтобы я мог разглядеть старуху. Она была одета в старинное платье из брокера пурпурового цвета, переходившего в фиолетовый; на левой руке был тяжелый браслет; в густых седых волосах, свернутых на затылке, красовалась золотая стрела; она была как будто призраком минувших дней.

Однако у нее не могло быть враждебных намерений, иначе она воспользовалась бы моим сном для исполнения их.

Эта мысль несколько успокоила меня, как вдруг она встала и медленно... медленно приблизилась к моей постели, держа в руках только что зажженный факел.

Тут я заметил неподвижный, свирепый взгляд ее глаз.

Я сделал усилие, чтобы встать, крикнуть: ни один мускул моего тела не дрогнул, ни малейшего звука не сорвалось с моих губ.

А старуха, нагнувшись надо мной из-за занавесей, смотрела на меня со странной улыбкой. Я хотел защищаться, позвать... взгляд ее парализовал меня, как птицу взгляд змеи.

Каждая минута этого безмолвного созерцания казалась мне вечностью.

— Что сделает она?

Я ожидал всего.

Вдруг она повернула голову, прислушалась, потом прошла большими шагами залу и отворила дверь.

Мужество отчасти вернулось ко мне. Усилием воли я встал, словно движимый пружиной. Я бросился вслед за старухой, которая одной рукой высоко держала факел, другой широко распахнула дверь.

Я хотел схватить ее за волосы, как вдруг в глубине галереи, под стрельчатым сводом замка, выходящим на площадку, я увидел... кого?



Самого графа Нидека!

Графа Нидека — которого я считал умирающим — одетого в громадную волчью шкуру; верхняя челюсть волка была надвинута на лоб в виде забрала, когти лежали на плечах, хвост волочился по каменному полу.

На нем были большие башмаки из толстой кожи. Шкура застегивалась у шеи серебряными когтями; все в его лице, за исключением тусклого, неподвижного, ледяного взгляда, обличало человека сильного, привыкшего управлять — властелина.

Мысли мои совершенно смешались при виде его. Бегство было невозможно. У меняхватило присутствия духа только на то, чтобы броситься в нишу у окна.

Граф вошел, смотря на старуху с суровым выражением лица. Они заговорили тихо, настолько тихо, что я не мог разобрать их слов, но жесты их были выразительны: старуха указывала на кровать.

На цыпочках они подошли к камину. Тут, в тени, старуха, улыбаясь, развернула большой мешок.

Едва граф увидел мешок, как в три прыжка он был у кровати и оперся на нее одним коленом. Занавеси заколебались; тело графа исчезло под их складками; я видел только одну его ногу, упиравшуюся в каменный пол, и хвост, болтавшийся то вправо, то влево.

Можно было бы подумать, что тут происходила сцена убийства!

Все самое страшное, самое ужасное не охватывало бы меня таким страхом, как немое изображение этого акта.

Старуха прибежала, в свою очередь развертывая мешок.

Занавеси снова зашевелились, на степен показались тени. Самое ужасное было то, что мне показалось, будто лужа крови медленно потекла по полу к камину: то был снег, представший к ногам графа и таявший от тепла.

Я продолжал смотреть на этот черный след, чувствуя, что язык у меня цепенеет, как вдруг я увидел странную картину.

Старуха и граф закидывали простыни в мешок; они втискивали их с поспешностью собаки, роющей землю; потом владелец Нидека взбросил себе на плечо этот некрасивый предмет и направился к двери. Простыня тащилась за ним; старуха шла с факелом. Они прошли по площадке.

Я чувствовал, как дрожали мои колени, как они стучали друг о друга; я тихонько молился.

Не прошло и двух минут, как я бросился по их следам, увлекаемый внезапным, неотразимым любопытством.

Я бежал по площадке и только что хотел войти в стрельчатую арку башни, как у меня под ногами очутилась большая, глубокая цистерна; туда, спиралью, спускалась лестница; я увидел, как факел мерцал в глубине, словно светлячок, и становился незаметным по мере того, как удалялся.

Я сошел, в свою очередь, по первым ступеням лестницы, идя на этот отдаленный свет.

Внезапно он исчез: старуха и граф дошли до дна пропасти. Я продолжал спускаться, держась за перила, уверенный, что могу подняться в башню в случае, если не окажется другого выхода.

Вскоре ступеньки окончились. Я огляделся и заметил налево лунный свет, пробивавшийся из-под низкой двери через высокую крапиву и покрытый ином терновник. Я отбросил ногой эти препятствия и увидел, что нахожусь у основания башни Гюга.

Кто мог бы предположить, что такая дыра шла к замку? Кто показал этот путь старухе? Я не остановился на этих вопросах.

Передо мной расстилалась обширная равнина, залитая светом, как среди белого дня. Направо черная линия Шварцвальда с его отвесными скалами, ущельями, обрывами уходила в бесконечную даль.

Воздух был холоден, тих; я чувствовал себя как бы пробужденным; все чувства мои обострились под влиянием ледяной атмосферы.

Прежде всего, я старался узнать, в каком направлении пошли граф и старуха. Их высокие черные фигуры медленно подымались на холм в двухстах шагах от меня. Они выри-

совывались на фоне неба, покрытого бесчисленными звездами.

Я догнал их при спуске.

Граф шел медленно, саван тянулся за ним... Его поза, движения, так же как и поза и движения старухи, напоминали автомат.

Они шли в двадцати шагах от меня по дороге в Альтенбург то в тени, то на полном свету, так как луна была поразительно ярка. Вдали за ней неслись облака, как бы протирая длинные руки, чтобы схватить ее; но она ускользала от них, и ее лучи, холодные, как стальные клинки, проникали мне в сердце.

Мне хотелось вернуться, но какая-то непобедимая сила заставляла меня идти за похоронным шествием.

До сих пор я вижу тропинку, поднимающуюся среди низкого кустарника в Шварцвальде, слышу, как хрустит снег под моими ногами, как летит лист от дыхания холодного ветра; вижу себя следующим за двумя безмолвными существами и не могу понять, какая таинственная сила увлекала меня за ними.

Вот мы, наконец, в лесу под высокими, обнаженными буками. Черные тени их высоких веток преломляются на нижних и падают на покрытую снегом дорогу. По временам мне чудится, что кто-то идет за мной.

Я быстро оборачиваюсь и ничего не вижу.

Мы дошли до линии скал на гребне Альтенбурга; за этими скалами находится поток Шнееберг, но зимой потоки не текут, лишь тонкая струя воды извивается под густым покровом льда; в уединенном месте нет ни журчания, ни щелбания птиц, ни грома: безмолвие ужаснее всего!

Граф Нидек и старуха нашли брешь в скале; они поднялись прямо, не задумываясь, с невероятной уверенностью; я должен был цепляться за кусты, чтобы следовать за ними.

Взобравшись на вершину скалы, я увидел в трех шагах от себя графа и его спутницу; с другой стороны я заметил бездонную пропасть. Слева падал поток Шнееберг, в данное время покрытый льдом и повисший в воздухе. Вид неподвижной волны, которая как будто летит, увлекая в своем паде-

нии соседние деревья, забирая кусты и прорывая плющ, несущийся за ней, не теряя корней, это кажущееся движение при неподвижности смерти и эти два безмолвных существа, идущие на свое ужасное дело с нечувствительностью автоматов, — все это снова пробудило во мне страх.

Сама природа, по-видимому, разделяла мой ужас.

Граф положил свою ношу; он и старуха раскачивали ее в продолжение одной минуты над краем пропасти; потом длинный саван взвился над пропастью, и убийцы наклонились над ней.

Эта длинная белая развевающаяся простыня еще стоит перед моими глазами. Я вижу, как она опускается, опускается, как лебедь, раненый высоко в небесах, с поникшими крыльями, запрокинутой головой.

Она исчезла в глубине пропасти.

В это мгновение облако, которое уже давно надвигалось на луну, медленно закрыло ее своими синеватыми очертаниями; лучи луны скрылись.

На одну секунду показалась старуха. Она держала графа за руку и увлекала его с головокружительной быстротой.

Облако совершенно закрыло диск луны. Я не мог сделать ни шага, не рискуя упасть в пропасть.

Через несколько минут облако разорвалось. Я оглянулся вокруг... Я был один на вершине скалы; снег доходил мне до колен.

Охваченный ужасом, я сошел с утеса и побежал к замку, взволнованный, как будто я совершил убийство!

Что касается графа Нидека и старухи, их не было видно на равнине.

Х

Я бродил вокруг замка, не находя места, откуда вышел.

Беспокойство и ряд перенесенных мною волнений начинали действовать на мою голову; я шел зря, с ужасом спрашивая себя, уж не овладело ли мною безумие, не решаясь



верить тому, что видел и, вместе с тем, путаясь ясности моих представлений.

Человек подымает факел во тьме, воет, как волк, идет и холодно совершает воображаемое убийство, не упуская ни одного движения, ни одного обстоятельства, ни малейшей подробности, убегает и поверяет потоку тайну совершенного им убийства, — все это мучило меня, постоянно проходило перед моими глазами и производило действие кошмара.

Я бежал, задыхаясь, путаясь в снегу, не зная, в какую сторону направиться.

Холод становился все сильнее по мере того, как приближался рассвет. Я дрожал... Я проклинал Спервера за то, что он приехал за мной в Фрейбург, чтобы запутать меня в это отвратительное приключение.

Наконец, измученный, с ледяными сосульками на бороде, с полуотмороженными ушами, я отыскал решетку и позвонил изо всех сил.

Было около четырех часов утра. Кнапвурст заставил себя ждать страшно долго. В его маленьком домике, прислоненном к скале около главных ворот, царило безмолвие. Мне казалось, что горбун никогда не кончит одеваться. Я думал, что он в постели и, может быть, спит.

Я позвонил еще раз.

Его смешная фигура показалась в дверях. Он крикнул яростным тоном:

— Кто там?

— Я... доктор Фриц.

— А... это другое дело.

Он вернулся в дом за фонарем, прошел по наружному двору по брюхо в снегу и, пристально смотря на меня через решетку, проговорил:

— Извините, извините, доктор Фриц; я думал, что вы спите себе в башне Гюга. Так это вы звонили? Ага! Так вот почему Спервер приходил ко мне около полуночи и спрашивал, не выходил ли кто-нибудь из ворот. Я ответил, что никто не выходил; да ведь и правда, я не видал вас.

— Но ради Бога, откройте же, господин Кнапвурст. Вы объясните мне все потом.

— Ну, ну, немного терпения.

И горбун медленно, медленно отпер замок и открыл решетку. Я щелкал зубами от холода и дрожал с головы до ног.

— Вы очень озябли, доктор, — сказал горбун, — вам нельзя идти в замок. Спервер, не знаю почему, запер внутреннюю дверь; обыкновенно бывает достаточно калитки. Придите ко мне отогреться. Комната моя не представляет собой ничего удивительного. Собственно говоря, это просто логово; но, когда холодно, не приходится выбирать.

Не слушая его болтовни, я поспешно пошел за ним.

Мы вошли в домик и, несмотря на то, что я почти совсем замерз, я не мог не залюбоваться на живописный беспорядок этой своего рода ниши. Через шиферную крышу, прислоненную с одной стороны к скале, а с другой к стене в шесть или семь футов высотой, видны были почерневшие балки, доходившие до конька.

Помещение состояло из одной комнаты, украшенной плохой постелью, которую гном убирал на каждый день, и двумя окошечками с шестиугольными стеклами, на которые луна рассыпала свои лучи, отливавшие розовым и фиолетовым цветом. Большой четырехугольный стол занимал середину комнаты. Как этот массивный дубовый стол вошел в эту маленькую дверь?.. Трудно сказать.

Несколько полочек или этажерок поддерживали свитки пергамента, старинные книги, большие и маленькие. На столе лежал громадный том с разрисованными большими буквами, с переплетом из белой кожи, с застежкой и уголками из серебра. Он имел вид сборника хроник. Два кресла, одно из коричневой кожи, другое с пуховой подушкой, на которой виднелись отпечатки угловатой спины и нескладного таза Кнапвурста, дополняли убранство комнаты.

Я пропускаю чернильницу, перья, горшок с табаком, пять-шесть повсюду разбросанных трубок и маленькую печку с небольшой дверцей, открытую, пылающую, выбрасывающую иногда сноп искр со странным шипением, похожим на

шипение кошки, которая сердится и подымает лапу.

Все это носило колорит коричневой пережатой умбры, успокоительный для зрения, колорит, секрет которого унесли фламандские мастера.

— Так значит, вы действительно выходили вчера вечером, господин доктор? — сказал Кнапвурст, когда мы удобно уселись, он — перед своей книгой, я — у трубы печки, о которую грел руки.

— Да; довольно рано, — ответил я. — Одному угольщику в Шварцвальде понадобилась моя помощь: он поранил себе топором левую ногу.

Это объяснение удовлетворило, по-видимому, горбуна; он зажег свою трубку, старую, почерневшую деревянную трубку, которая ниспадала ему на подбородок.

— Вы не курите, доктор?

— Извините, курю.

— Ну, так набейте одну из моих трубок. Я тут читал хроники Гертцога, — сказал Кнапвурст, кладя длинную желтую руку на открытую книгу, — когда вы позвонили.

Теперь я понял, отчего мне пришлось ждать так долго.

— Вам нужно было окончить главу? — улыбаясь, проговорил я.

— Да, сударь, — тоже с улыбкой ответил он.

Мы оба рассмеялись.

— Все равно, — сказал он, — если бы я знал, что это вы, я бросил бы главу.

Наступило несколько минут молчания.

Я рассматривал странную физиономию горбуна: глубокие морщины, окружавшие его рот, маленькие глаза со сморщенными веками, круглый на конце нос и — главное — громадный лоб. В лице Кнапвурста я нашел некоторое сходство с Сократом. Греясь и прислушиваясь к треску огня, я размышлял о странной судьбе некоторых людей.

«Вот, — думал я, — этот карлик, это безобразное, невзрачное существо, закинутое в угол Нидека, как сверчок, вздыхающий за очагом, — вот этот Кнапвурст живет одиноким среди суматохи и больших охот, постоянных кавалькад, лая собак, грубых криков охотников, весь погруженный в свои

книги, думая только о былых временах, когда все вокруг поет или плачет. Весна, лето, зима приходят и проходят, заглядывая поочередно в его маленькие, тусклые окна, веселя, согревая, оцепеняя природу!.. В то время, как столько людей предаются увлечению любви, честолюбия, жадности, надеются, добиваются, желают, он ни на что не надеется, ничего не добивается, ничего не желает. Он курит свою трубку и, устремив глаза на какой-нибудь старый пергамент, мечтает, приходит в восторг от вещей, не существующих больше или никогда не существовавших — что то же самое. Гертцог сказал то-то... такой-то предполагает другое! И он счастлив! Его пергаментное лицо сияет, его спина, формы трапеции, сгибается еще больше, острые большие локти протирают дыру в столе, длинные пальцы словно врастают в щелки, серые глазки устремлены на латинские, греческие или этрусские буквы. Он приходит в восторг, облизывает губы, как кошка, которая только что вылакала любимую еду. А потом он вытягивается на своей постели, скрестив ноги, вполне довольный собой. Господи Боже мой! Внизу или наверху лестницы находишь строгое применение Твоих законов, исполнение долга?»

А снег таял вокруг моих ног, нежное дыхание печки проникло в меня, я чувствовал, что оживаю в этой атмосфере, наполненной запахом табака и благовонной смолы.

Кнапвурст положил трубку на стол и снова, дотронувшись до книги, заговорил серьезным тоном, как бы исходящим из глубины его совести или, вернее, из бочки.

— Вот, доктор Фриц, закон и пророки.

— Как так, господин Кнапвурст?

— Пергамент, старый пергамент, — сказал он, — я люблю это. Эти старые, желтые, изъеденные червями листы — все, что остается нам от былых времен — от Карла Великого до нынешнего дня! Старые фамилии исчезают, пергаменты остаются. Что было бы со славой Гогенштауфенов, Лейптингенов, Нидеков и многих знаменитых родов?.. Что стало бы с их титулами, гербами, высокими подвигами, дальними походами в Святую Землю, браками, старинными претензиями, победами, давно уже забытыми?.. Что стало



бы со всем этим без пергаментов? Ничего. Эти бароны, герцоги, принцы как будто не существовали бы — и они сами и все, что касалось их... Их большие замки, дворцы, крепости падают и исчезают с лица земли; это развалины, смутные воспоминания... Из всего этого существует только одно: хроника, история, песня барда или миннезингера — пергамент!

Наступило молчание. Кнапвурст продолжал:

— А в эти отдаленные времена, когда знатные рыцари вели войны, сражались, ссорились из-за какого-нибудь клочка земли, титула и того меньше — с каким презрением смотрели они на бедного маленького писца, ученого человека, знакомого с волшебством, скромно одетого, с чернильницей за поясом вместо оружия. Как они презирали его, говоря: «Это атом, тля; он ни на что не годен, ничего не делает, не собирает нам подати, не управляет нашими имениями, тогда как мы, храбрые, одетые в железные латы, с пикой в руке, мы — все». Да, они говорили так, видя, как бедняк еле передвигает ноги, дрожит от холода зимой, потеет летом, покрывается плесенью в старости. Ну, и вот этот атом, эта тля заставляет их пережить пыль их замков, ржавчину их оружия. Поэтому я и люблю эти старые пергаменты, уважаю их, почитаю. Как плющ, они покрывают развалины, мешают старым стенам обрушиться и исчезнуть навсегда.

Говоря это, Кнапвурст принял важный, задумчивый вид; эта мысль растрогала его, вызвала две слезы на его глаза.

Бедный горбун! Он любил тех, кто снисходительно относился к его предкам, покровительствовал им. И кроме того, он говорил правду; его слова имели глубокий смысл.

Я был очень удивлен.

— Господин Кнапвурст, так вы учились по-латыни?

— Да, научился сам, — ответил он не без тщеславия, — латыни и греческому; с меня было достаточно старинных грамматик. Это были заброшенные книги графа; они попались в руки мне; я проглотил их!.. Через несколько времени граф, услышав случайно от меня латинскую цитату, удивился: «Кто научил тебя латыни, Кнапвурст?» — «Я сам, ваше сиятельство». Он предложил мне несколько вопросов. Я ответил довольно хорошо. «Черт возьми! — сказал он. —

Кнапвурст знает больше моего; я сделаю его хранителем моих архивов». И он передал мне ключ от архива. Это было тридцать пять лет тому назад, и с тех пор я все прочел, все просмотрел. Иногда граф, видя меня на лестнице, останавливается и спрашивает: «Что это ты там делаешь, Кнапвурст?» — «Читаю семейные архивы, ваше сиятельство». — «А! И что же, нравится тебе?» — «Очень». — «Ну, тем лучше; без тебя, Кнапвурст, кто знал бы о славе Нидеков?» И он уходит, смеясь. Я делаю здесь, что хочу.

— Он очень добрый хозяин, господин Кнапвурст?

— О, доктор Фриц, какое сердце! Какая откровенность! — складывая руки, проговорил горбун. — У него только один недостаток.

— Какой?

— Он недостаточно честолобив.

— Как так?

— Да, он мог бы добиться всего. Нидек! Одна из знаменитейших фамилий Германии, подумать только! Он мог бы — если бы захотел — быть министром или фельдмаршалом. Так нет! Он с юности удалился от политики; за исключением французской кампании, которую он проделал во главе вооруженного им самим полка, за этим исключением, он всегда жил вдали от шума, волнений, простой, почти неизвестный, ни о чем не думая, кроме охоты.

Эти подробности в высшей степени заинтересовали меня. Разговор принимал как раз желательный для меня оборот. Я решился воспользоваться им.

— Так у графа не было никакой сильной страсти?

— Никакой, доктор Фриц, и это очень жаль, потому что сильные страсти составляют славу знатных фамилий. Когда в высоком роде появляется человек, лишенный честолубия — это несчастье: он содействует упадку расы. Я мог бы привести вам много примеров. То, что составило бы счастье купеческой семьи, служит причиной гибели знаменитых имен.

Я был удивлен; все мои предположения насчет прежней жизни графа рушились.

— Однако, господин Кнапвурст, графу пришлось испытывать несчастья...

— Какие?

— Он потерял жену...

— Да, вы правы... жену... ангела... он женился на ней по любви... Она была из фамилии Заан — старинная, хорошая дворянская фамилия Эльзаса, но разоренная революцией. Графиня Одетта составляла счастье графа. Она умерла от изнурительной болезни, длившейся пять лет. Было истерпано все для ее спасения. Они вместе уезжали в Италию; оттуда она вернулась в еще худшем состоянии и скончалась через несколько недель после возвращения. Граф чуть не умер с горя. Он заперся и в продолжение двух лет не хотел никого видеть. Он забросил свою свору, своих лошадей. Наконец, время утешило его печаль. Но все же тут осталось что-то, — с волнением сказал горбун, прижимая палец к сердцу, — вы понимаете... что-то, истекающее кровью. Старые раны болят при перемене погоды и старые печали также — весной, когда на могилах вырастает трава, и осенью, когда листья с деревьев покрывают землю. Граф не захотел жениться во второй раз; всю свою любовь он перенес на дочь.

— Так, значит, этот брак был счастлив?

— Счастлив! Он был благословением для всех.

Я замолчал. Граф не совершил, не мог совершить преступление. Пришлось согласиться с очевидностью. Но что же означала эта ночная сцена, эти сношения с «Чумой», это страшное подражание убийству, угрызения совести, заставляющие виновных выдавать во сне свое прошлое? Что это?

Я положительно терялся.

Кнапвурст зажег трубку и предложил мне другую, которую я взял.

Охвативший меня леденящий холод рассеялся; я испытывал то сладкое спокойствие, которое следует за сильной усталостью, когда, растянувшись в удобном кресле, в углу у огня, в облаке дыма, предаешься удовольствию отдыха и слушаешь дуэт сверчка и шипящего полена.

Мы просидели так около четверти часа.

— Граф Нидек сердится иногда на свою дочь? — решил спросить я.

Кнапвурст вздрогнул и искоса взглянул на меня почти враждебно.

— Я знаю, я знаю.

Я исподтишка смотрел на него, думая узнать что-нибудь новое, но он прибавил насмешливым тоном:

— Башни Нидека слишком высоки, а клевета летает слишком низко для того, чтобы подняться туда.

— Без сомнения; но это факт.

— Да, что делать! Эта странность — действие болезни. Как только проходит кризис, вся его привязанность к графине возвращается. Это удивительно, сударь; двадцатилетний любовник не мог бы быть любезнее, нежнее. Эта девушка составляет его радость, его гордость. Представьте себе, я раз десять видел, как он отправлялся верхом, чтобы купить ей какое-нибудь украшение, цветы. Он отправлялся один и возвращался с триумфом, трубя в рожок. Он не передавал поручения никому, ни даже Сперверу, которого он так любит. Графиня не решается высказать какого-нибудь своего желания из страха перед этим безумием. Что же вам еще сказать? Граф Нидек достойнейший из людей, нежнейший из отцов и лучший из господ. Старый граф Людвиг велел бы повесить браконьеров, которые опустошают леса нынешнего графа, а он относится к ним снисходительно, даже делает из них заведующих охотой. Вот, например, Спервер! Будь жив граф Людвиг, его кости давно бы стучали, как кастаньеты, на конце веревки, а теперь он у нас занимает важную должность.

Все мои предположения оказывались неверными. Я оперся лбом на руки и долго думал. Кнапвурст, предполагая, что я уснул, снова принялся за чтение.

Серые лучи рассвета проникали в домик. Лампа бледнела. В замке слышался смутный шум.

За окном раздались шаги. Я видел, что кто-то прошел там. Дверь поспешно распахнулась, на пороге показался Гедеон.

Бледность Спервера, блеск его глаз указывали, что произошли какие-то новые события. Однако, он был спокоен и, по-видимому, не удивился, что я у Кнапвурста.

— Фриц, — отрывисто проговорил он, — я пришел за тобой.

Я молча встал и пошел за ним.

Только что мы вышли из домика, он взял меня под руку и быстро повел к замку.

— Графиня Одиль хочет говорить с тобой, — шепнул он мне на ухо.

— Графиня Одиль?.. Она больна?

— Нет; она совершенно оправилась, но происходит нечто необыкновенное. Представь себе, что сегодня, около часа утра, видя, что граф близок к тому, чтобы отдать Богу душу, я пошел разбудить графиню, но в ту минуту, как собрался позвонить, у меня не хватило духа. «Зачем огорчать ее? — сказал я себе. — Она и так слишком рано узнает о несчастье; к тому же будить ее среди ночи, когда она слаба и потрясена волнением — это значило бы сразу убить ее». Я раздумывал так минут десять; потом решил взять все на себя. Возвращаясь в комнату графа, смотрю... никого! Невозможно: человек в агонии! Я бегу в коридор, как безумный. Никого! Вхожу в большую галерею. Никого! Тогда я теряю голову и вот я снова перед комнатой графини Одиль. На этот раз звоню; она появляется с криком: «Мой отец умер?» — «Нет. — «Он исчез?» — «Да, сударыня... Я вышел на минуту... Когда я вошел...» — «А доктор Фриц?.. Где он?» — «В башне Гюга». — «В башне Гюга!» Она кутается в капот, берет лампу и уходит. Я остаюсь. Через четверть часа она приходит с ногами в снегу и такая бледная, что жаль на нее смотреть. Она ставит лампу на камин и говорит, смотря на меня: «Это вы поместили доктора в башню?» — «Да, сударыня». — «Несчастный!.. Вы никогда не узнаете, какое зло вы причинили». Я хотел ответить. «Довольно, — сказала она, — пойдите, закройте все двери и ложитесь спать. Я буду

сама дежурить. Завтра утром пойдите к Кнапвурсту за доктором Фрицем и приведите его ко мне. Чтобы не было шума!.. Вы ничего не видели... и ничего не знаете».

— Это все, Спервер?

Он медленно наклонил голову.

— А граф?

— Он вернулся... он здоров.

Мы дошли до передней. Гедеон тихонько постучался в дверь, потом открыл ее и доложил:

— Доктор Фриц.

Я сделал шаг вперед и очутился в присутствии графини Одиль. Спервер вышел и запер дверь.

Странное впечатление произвел на меня вид молодой графини. Она стояла, бледная, одетая в длинное черное бархатное платье, опираясь рукой на спинку кресла, с глазами, светившимися лихорадочным блеском, со спокойным и гордым видом.

Я был сильно взволнован.

— Господин доктор, — сказала она, указывая на стул, — садьте, пожалуйста; мне нужно поговорить с вами о важном деле.

Я повиновался молча.

Она также села и, по-видимому, собиралась с мыслями.

— Рок, — начала она, устремляя на меня свои большие голубые глаза, — рок или Провидение, не знаю, что именно, сделал вас, сударь, свидетелем тайны, в которой задета честь моей фамилии.

Она знала все.

Я был поражен.

— Сударыня... — пробормотал я. — Поверьте, что только случайность...

— Это бесполезно, — сказала она, — я все знаю... Это ужасно!

Потом она крикнула душераздирающим голосом:

— Мой отец невиновен!

Я вздрогнул и протянул к ней руки.

— Я это знаю, сударыня; я знаю жизнь графа, одну из самых прекрасных, из самых благородных, о которых можно

мечтать.

Одиль приподнялась, как будто протестуя против всякой мысли, враждебной ее отцу. Услышав, что я сам защищаю его, она опустила в кресло и, закрыв лицо руками, разразилась слезами.

— Да благословит вас Бог, сударь, — бормотала она, — да благословит вас Бог; я умерла бы при мысли, что подозрение...

— Сударыня, кто мог бы принять за действительность бред, фантазии лунатика?

— Это правда, сударь, я говорила себе так, но внешний вид... Я боялась... простите меня!.. Я должна была помнить, что доктор Фриц — порядочный человек.

— Ради Бога, успокойтесь, сударыня.

— Нет, дайте мне выплакаться, — проговорила она. — Эти слезы успокаивают меня... Я столько выстрадала за эти десять лет, столько выстрадала! Эта тайна, так долго хранившаяся в моей душе, убивала меня... Я умерла бы от нее, как моя мать. Бог сжалился надо мной... Он наполовину открыл ее вам. Дайте мне рассказать вам все, сударь, дайте...

Она не могла продолжать; рыдания душили ее.

Таковы все гордые, нервные натуры. Победив горе, заключив его и как бы раздавив в глубине души, они проходят среди толпы, если не счастливые, то, по крайней мере, равнодушные, и даже наблюдательный взор может ошибиться; но внезапное потрясение, неожиданное открытие, удар грома — и все рушится, все исчезает. Побежденный враг подымается более страшный, чем при своем поражении; он с яростью потрясает двери своей темницы, и продолжительная дрожь обуревают тело, рыдания подымают грудь, и долго сдерживаемые слезы вырываются из глаз, обильные и частые, как дождь во время бури.

Такова была Одиль.

Наконец, она подняла голову, отерла мокрые от слез щеки и, облокотясь о ручку кресла, устремив глаза на висевший на стене портрет, заговорила медленным, печальным голосом:

— Когда я углубляюсь в прошлое, сударь, когда я вспоминаю свои первые мечты, я вижу мою мать. Это была высокая, бледная, молчаливая женщина. В то время, о котором я говорю, она была еще молода; ей было едва тридцать лет, но на вид можно было дать, но крайней мере, пятьдесят. Седые волосы окружали ее задумчивое чело. Ее исхудалые щеки, строгий профиль, всегда печально сжатые губы придавали ее лицу странное выражение печали и гордости. В этой старой тридцатилетней женщине молодого было только ее прямая, гордая фигура, блестящие глаза и голос, нежный и чистый, как мечта ребенка. Она часто целыми часами ходила по этой самой зале, а я бегала вокруг нее, счастливая, да, счастливая, потому что я — бедный ребенок! — не сознавала, что моя мать грустна, не понимала, сколько глубокой печали таилось под этим челом, изборожденном морщинами! Прошлое было неизвестно мне; настоящее полно радости, будущее... будущее представлялось рядом игр.

Одиль горько улыбнулась и продолжала:

— Иногда во время моих шумных игр мне случалось наталкиваться на безмолвно ходившую мать. Она останавливалась, опускала глаза, медленно наклонялась, целовала меня в лоб с неопределенной улыбкой; потом выпрямлялась и продолжала свой путь с прежней грустью. Впоследствии, когда я старалась отыскать в душе воспоминания первых лет, эта высокая, бледная женщина представлялась мне изображением печали. Вот она, — сказала графиня, указывая на висевший на стене портрет, — такая, какой ее сделала не болезнь, как думает мой отец, а страшная, роковая тайна... Взгляните.

Я обернулся и вздрогнул, увидев внезапно портрет, на который мне указывала молодая девушка.

Представьте себе длинное, бледное, худое лицо, носящее суровый, холодный отпечаток смерти, и в орбитах этого лица два черных, горящих, пристально смотрящих на вас, страшно живых глаза!

Наступило молчание.

«Как должна была страдать эта женщина!» — мысленно проговорил я, и сердце у меня болезненно сжалось.

— Я не знаю, каким образом моя мать сделала это ужасное открытие, — продолжала Одиль, — но она знала таинственное очарование «Чумы», свидания в комнате Гюга... Одним словом, все. Она не сомневалась в моем отце. О, нет! Она только медленно умирала, как умираю и я.

Я схватился руками за голову... я плакал.

— Однажды ночью, — продолжала Одиль, — мне было тогда десять лет, моя мать, которую поддерживала только ее энергия, сказала при смерти. Это было зимой; я спала. Вдруг чья-то нервная, холодная рука схватила мою руку. Смотрю: передо мной какая-то женщина; в одной руке у нее был факел, другой она сжимала мою руку. Платье ее было все в снегу; конвульсивная дрожь пробежала по ее телу; глаза блестели мрачным огнем сквозь длинные, седые, нависшие на лицо волосы. Это была моя мать.

«Одиль, дитя мое, — проговорила она, — встань, оденься; ты должна узнать все».

Я оделась, дрожа от страха. Она повела меня в башню Гюга, показала мне открытую цистерну. «Твой отец выйдет оттуда, — сказала она, указывая на башню, — он выйдет с Волчицей. Не дрожи, он не может увидеть тебя». Отец действительно вышел со старухой, неся свою ужасную ношу. Мать пошла за ними, неся меня на руках. Она показала мне сцену на Альтенбурге. «Смотри, дитя, — кричала она, — это нужно, так как я... я умру. Ты сохранишь эту тайну. Ты будешь ходить за твоим отцом одна, совсем одна, слышишь? Дело идет о фамильной чести».

Мы вернулись.

Через две недели моя мать умерла, завещав мне продолжать ее дело, следовать ее примеру. Я свято следовала этому примеру. Вы видели, ценой каких жертв: я должна была не повиноваться отцу, разрывая ему сердце! Выйти замуж — это значило ввести в нашу среду чужого, выдать тайну нашего рода!! Я противилась. В Нидеке никто не знает о сомнамбулизме графа, и без вчерашнего кризиса, подорвавшего мои силы и помешавшего мне самой дежурить у отца,

я оставалась единственной хранительницей страшной тайны!.. Бог решил иначе, он отдал в ваши руки честь нашей семьи. Я могла бы потребовать от вас торжественное обещание никогда не открывать того, что вы видели сегодня ночью. Это было бы мое право.

— Сударыня, — сказал я, вставая, — я готов...

— Нет, сударь, — с достоинством проговорила она, — я не нанесу вам этого оскорбления. Клятвы недействительны для низких сердец, а для порядочных достаточно законов чести. Я уверена, что вы сохраните тайну, потому что это ваш долг. Но я ожидаю от вас большего, гораздо большего, и вот почему я сочла себя обязанной все сказать вам.

Она медленно встала.

— Доктор Фриц, — сказала она голосом, заставившим меня вздрогнуть, — силы изменяют мне; я сгибаюсь под тяжестью, мне нужен помощник, советник, друг; хотите вы быть этим другом?

Я встал, взволнованный.

— Сударыня, — сказал я, — я с благодарностью принимаю ваше предложение и не могу сказать, как я горжусь им, но позвольте мне сделать одно условие.

— Говорите, сударь.

— Условие это состоит в том, что я принимаю название друга со всеми обязанностями, налагаемыми им.

— Что вы хотите сказать?

— Какая-то тайна реет над вашей семьей; нужно, во что бы то ни стало, проникнуть в эту тайну; нужно схватить «Чуму», узнать, кто она, чего хочет, откуда явилась...

— Это невозможно, — сказала она, качая головой.

— Почему знать? Может быть, у Провидения были какие-нибудь виды на меня, когда оно внушило Сперверу мысль приехать за мной в Фрейбург.

— Вы правы, — серьезно проговорила она, — Провидение ничего не делает бесцельно! Поступайте, как посоветует вам сердце. Я вперед одобряю все.

Я поднес к губам ее протянутую руку и вышел, полный восхищения перед этой молодой женщиной, такой хрупкой и в то же время такой мужественной.

Нет ничего прекраснее благородно исполняемого долга!

ХП

Час спустя после моего разговора с Одиль, мы вдвоем со Спервером вылетели из ворот Нидека.

Спервер, нагнувшись к шее лошади, все время погонял ее.

Он ехал так скоро, что его большой мекленбургский конь с развевающейся гривой и прямым хвостом казался неподвижным; он буквально рассекал воздух. Моя маленькая арденнская лошадка закусил удила. Лиэверле сопровождал нас, несясь рядом с нами, как стрела. Мы мчались с головокружительной быстротой.

Башни Нидека были уже далеко. Спервер ехал, по обыкновению, впереди. Вдруг я крикнул ему:

— Стой, товарищ, стой!.. Прежде, чем продолжать путь, нужно обсудить дело.

Он повернул лошадь.

— Скажи только, Фриц, куда нужно поворачивать: направо или налево.

— Нет, подъезжай ко мне. Тебе необходимо знать цель нашего путешествия. В двух словах, дело идет о том, чтобы взять старуху.

Выражение удовольствия осветило длинное желтое лицо старого браконьера; глаза его заблестели.

— А! — проговорил он. — Я знал, что нам придется сделать это.

Движением плеча он опустил карабин.

Этот выразительный жест обратил на себя мое внимание.

— Одну минуту, Спервер! Нужно не убивать «Чуму», а взять ее живой.

— Живой?

— Без сомнения, и чтобы освободить тебя от угрызений совести в будущем, я должен предупредить тебя, что судьба

старухи связана с судьбой твоего господина. Поэтому пуля, которая сразит ее, убьет сразу и графа.

Спервер, пораженный, открыл рот.

— Это правда, Фриц?

— Без сомнения.

Наступило долгое молчание; наши лошади — Фокс и Реппель — качали головами, стоя друг перед другом, приветствовали друг друга и, как бы поздравляя с прогулкой, рыли снег ногами. Лиэверле зевал от нетерпения, то вытягивая свою длинную, худую спину, то подбирая ее, как змея, а Спервер сидел неподвижно, положив руку на карабин. Вдруг он закинул его на спину и сказал:

— Ну! Постараемся взять ее живой, эту «Чуму»! Надеваем перчатки, если будет нужно. Но это не так легко, как ты думаешь, Фриц.

И, протянув руку к горам, которые простирались амфитеатром вокруг нас, он прибавил:

— Взгляни: вот Альтенбург, Биркенвальд, Шнееберг, Оксенгорн, Рееталь, Беренскопф; если мы подыдемся немного, ты увидишь еще пятьдесят вершин, теряющихся вдаль, до равнин Палатината. Там есть скалы, обрывы, проходы, потоки и леса, бесконечные леса; здесь ели, дальше буки, еще дальше дубы. Старуха прогуливается среди всего этого; у нее здоровые ноги, хорошее зрение, она чувствует приближение человека за милю. Попробуй-ка взять ее.

— Если бы это было легко, то в чем же заслуга? Тогда я не выбрал бы именно тебя.

— Мастер ты говорить, Фриц... Если бы еще мы знали начало следа, ну тогда, пожалуй, с смелостью и терпением...

— Что касается следа — не беспокойся; я беру это на себя.

— Ты?

— Да, я.

— Ты умеешь нападать на след?

— А почему бы нет?

— Ну, если ты ни в чем не сомневаешься и думаешь, что знаешь лучше меня, то это другое дело... Ступай вперед, я поеду за тобой.



Ясно было, что старик рассердился за то, что я осмелился коснуться его специальности. Тихонько посмеиваясь про себя, я не заставил повторять приглашение и круто повернул налево, в уверенности, что мне удастся пересечь следы старухи, которая после того, как убежала с графом по подземному ходу, должна была уйти в горы через равнину.

Спервер ехал сзади, насвистывая с равнодушным видом, и я слышал, как он бормотал: «Найди-ка на равнине следы Волчицы!.. Другой бы подумал, что она, по обыкновению, пойдет по опушке леса. Но, по-видимому, теперь она разгуливает во все стороны, засунув руки в карманы, как горожанин из Фрейбурга».

Я притворялся, что ничего не слышу. Вдруг он вскрикнул от удивления; потом, смотря на меня проницательным взглядом, проговорил:

— Фриц, ты знаешь больше, чем говоришь.

— Как так, Гедеон?

— Да, след, который я искал бы целую неделю, ты нашел сразу; это неестественно.

— Где ты видишь след?

— Эх! Не притворяйся, не ищи его у себя под ногами.

Он указал на еле заметный белый след, тянувшийся вдаль.

— Вот он!

Он пустился в галоп; я за ним, и через две минуты мы соскочили на землю. Действительно, то был след «Чумы».

— Мне очень хотелось бы знать, — сказал Спервер, складывая на груди руки, — откуда, черт возьми, идет этот след?

— Не беспокойся об этом.

— Ты прав, Фриц; не обращай внимания на мои слова: я говорю иногда на ветер. Главное — узнать, куда ведет след.

Он пристально оглядел след.

Я весь превратился в слух; он был весь внимание.

— След свеж, — сказал он после первого осмотра, — он проложен в эту ночь. Это странно, Фриц, во время последнего припадка графа старуха бродила вокруг Нидека.

Он пристально оглядел след.

— Она прошла между тремя-четырьмя часами утра.

— Почему ты знаешь?

— След ясен; вокруг лежит град. Вчера ночью, около полуночи я вышел, чтобы запереть двери; шел град; на следе его нет; значит, он проложен позже.

— Это верно, Спервер; но ведь он мог быть проложен и гораздо позже, например, в восемь или девять часов.

— Нет; взгляни, след затянут льдом. Заморозки бывают только ранним утром. Старуха прошла после града, до гололедицы, между тремя и четырьмя часами.

Проницательность Спервера поразила меня.

Он встал, похлопывая руку об руку, чтобы отряхнуть снег и, смотря на меня задумчивым взглядом, проговорил как бы сам себе:

— Ну, самое позднее, пять часов. Ведь уже полдень, не правда ли, Фриц?

— Без четверти двенадцать.

— Хорошо! Старуха обогнала нас на семь часов. Нам придется идти шаг за шагом по всему ее пути. На лошади мы можем проехать в один час то пространство, которое она прошла в два; предположим, что она продолжает идти — часов в семь или в восемь вечера мы догоним ее. В дорогу, Фриц, в дорогу!

Мы снова поскакали по следам, которые вели нас прямо к горе.

Галопируя, Спервер продолжал разговаривать.

— Если бы, к счастью, эта проклятая «Чума» зашла в какую-нибудь дыру или, вообще, отдохнула часок-другой, мы могли бы догнать ее до конца дня.

— Будем надеяться, Гедеон.

— Не рассчитывай, не рассчитывай. Старая Волчица идет все время; она неутомима; она замечает все дороги в Шварцвальде. Не нужно успокаивать себя химерами. Если она случайно останавливалась — тем лучше для нас; а если шла все время — не будем приходить в отчаяние. Ну, галопом! Гоп, гоп. Фокс!

Странное состояние человека, охотящегося за своим ближним, так как эта несчастная все же была одарена бессмерт-

ной душой, она чувствовала, думала, размышляла, как мы. Правда, извращенные инстинкты приближали ее, в некоторых отношениях, к волчице и тайна окружала ее. Бродячая жизнь, вероятно, притупила ее нравственное чувство и даже извратила человеческий характер, но, во всяком случае, ничто не давало нам права применить к ней деспотизм, проявляемый человеком относительно животных.

А между тем, дикий пыл увлекал нас при преследовании; я чувствовал, как кровь кипела у меня в жилах; я решил не отступать ни перед каким средством, чтобы только захватить это странное существо. Охота на волка, на кабана не могла бы возбудить меня в такой степени.

Снег летел за нами; по временам кусочки льда, отбиваемые подковами, словно резак, свистели у нас в ушах.

Спервер с развевающимися рыжими усами скакал, то подымая голову, то устремляя свои серые глаза на след. Лиэверле подпрыгивал иногда до спины наших лошадей; я невольно вздрагивал при мысли о его встрече с «Чумой»: он мог растерзать ее в клочки, прежде чем она успела бы крикнуть.

Старуха заставляла нас ехать страшно скоро. На каждом холме она делала крюк, на каждом бугорке мы встречались с ложным следом.

— И здесь никого! — кричал Спервер. — Это видно издали; вот в лесу будет другое дело. Там надо держать глаза открытыми. Видишь, как она, проклятая, сбивает со следа... Вот она старалась замести свои шаги; а тут она спустилась к ручью и шла вдоль него по крессу до вереска. Не будь этих двух шагов, она совершенно сбила бы нас, с пути.

Мы доехали до опушки елового леса и Спервер сошел, чтобы лучше разглядеть следы, а мне велел остановиться с левой стороны.

Тут было много мест, покрытых сухими листьями и гибкими веточками ели, на которых не остается никакого отпечатка. Поэтому Спервер мог найти следы только на тех местах, где лежал снег.

Нам нужен был целый час, чтобы выйти из этого букета деревьев. Старый браконьер грыз с досады усы, а его боль-

шой нос образовывал полукруг. Как только я собирался сказать что-нибудь, он сразу останавливал меня.

— Не говори; это мешает мне.

Наконец, мы спустились по долине на левой стороне и Гедеон, указывая мне на следы Волчицы на косогоре, покрытом вереском, сказал:

— Это, старина, не ложный след; мы можем смело идти по нему.

— Почему?

— Потому, что у «Чумы» есть привычка, во всех ее контрмаршах, делать три шага в одну сторону, потом возвращаться на следы, сделать пять-шесть шагов в другую и быстро перепрыгнуть на прогалину. Но, когда она считает себя в безопасности, то уже не прибегает к этим уловкам... Вот, видишь, что я говорил тебе?.. Она лезет через кусты, словно кабан; теперь нетрудно будет выследить ее. Все равно, оставим ее теперь и зажжем трубки.

Мы остановились. Лицо Спервера оживилось; он с восторгом посмотрел на меня и сказал:

— Фриц, этот день может быть прекраснейшим днем моей жизни! Если нам удастся взять старуху, я привяжу ее, как узел с тряпками, к крупу Фокса. Одно только досадно мне!

— Что?

— Что я забыл взять рожок. Мне хотелось бы трубить при приближении к замку. Ха, ха, ха!

Он зажег трубку и мы отправились дальше.

Следы Волчицы шли в лесу по такому крутому склону, что нам несколько раз приходилось сходить с лошадей и вести их под уздцы.

— Вот она поворачивает направо, — сказал Спервер. — С этой стороны отвесные горы; одному из нас, может быть, придется держать лошадей, пока другой влезет на гору, чтобы взглянуть, куда повернуть. Черт возьми! Как будто начинает темнеть!

Пейзаж принимал грандиозный вид; громадные серые скалы, покрытые льдинами, воздымали то тут, то там свои угловатые вершины, словно рифы над океаном снега.

Нет ничего печальнее зимнего вида в высоких горах: их гребни, уступы, обнаженные деревья, блестящий от инея вереск — все это носит характер заброшенности и невыразимой печали. Безмолвие — такое глубокое, что слышно, как скользит лист по затвердевшей земле, как веточка отламывается от дерева — давит человека, дает ему представление о безграничности его ничтожества.

Как мало значит человек! Выдадутся две суровых зимы и жизнь исчезает с земли.

По временам кто-нибудь из нас чувствовал потребность возвысить голос; слова говорились самые незначительные: — Мы доберемся!.. Какой собачий холод!

Или:

— Э! Лиэверле, да ты повесил нос!

И все это только, чтобы услышать свой голос, чтобы сказать себе:

— Я чувствую себя хорошо... Гм, гм!

К несчастью, Фокс и Респель начали уставать; они проваливались в снег по грудь и уже не ржали, как при отправлении.

Безысходные ущелья Шварцвальда продолжались до бесконечности. Старуха любила такие уединенные места: тут она обошла вокруг покинутой хижины угольщика; дальше срывала корни, которые растут на покрытых мхом скалах; в другом месте она присела под деревом и недавно, никак не более, как за два часа, потому что следы были совершенно свежи. Наши надежды и пыл удваивались. Но день, видимо, приближался к концу.

Странная вещь: со времени нашего отъезда из Нидека мы не встречали ни дровосеков, ни угольщиков. В это время года в Шварцвальде так же пустынно, как в степях Северной Америки.

В пять часов стемнело; Спервер остановился и сказал мне:

— Мой бедный Фриц, мы опоздали на два часа. Волчица слишком далеко ушла! Через десять минут под деревьями станет темно, как в ночи. Самое простое — это добраться до Рош-Крез, в двадцати минутах отсюда, зажечь хороший ко-

стер, съесть нашу провизию и опорожнить наш козий мех. Как только взойдет луна, мы снова пойдем по следу и, если только старуха не сам черт, держу десять против одного, что мы найдем ее замерзшей под каким-нибудь деревом; невозможно, чтобы человеческое существо могло вынести столько усталости в такую погоду; этого не выдержал бы и Себалът, первый ходок в Шварцвальде! Ну, что ты об этом думаешь, Фриц?

— Я думаю, что только сумасшедший мог бы поступить иначе; к тому же, я просто умираю от голода.

— Ну, так в дорогу!

Он поехал вперед и проник в узкое ущелье между двумя рядами отвесных скал. Ели скрещивали свои ветви над нашими головами. Под нашими ногами струился почти пересохший поток; местами случайно попавший в эту глубину луч отражался в мутной, как свинец, волне.

Настала такая темнота, что я должен был бросить уздечку Реппеля. Шаги наших лошадей по скользким камням раздавались как-то странно, словно взрыв хохота макака. Эхо в скалах повторяло эти звуки; какая-то глубокая черная точка как бы увеличивалась по мере нашего приближения — то был выход из ущелья.

— Фриц, — сказал Спервер, — мы в русле потока Тункельбах. Это самое дикое ущелье во всем Шварцвальде; оно заканчивается чем-то вроде глухого переулка, известного под названием «Котел Большого Ревуна». Весной, во время таяния снегов, Тункельбах со страшным ревом извергает туда все свои воды с высоты двухсот футов. Это производит страшный шум. Вода брызжет и падает дождем на соседние горы. Иногда она даже наполняет большую пещеру в Рош-Крез; но теперь русло, должно быть, сухо, как пороховница, и там можно развести хороший огонь.

Слушая Гедеона, я рассматривал мрачное ущелье и говорил себе, что инстинкт диких зверей, ищущих такие берлоги вдали от всего, что веселит душу, является следствием отчаяния. Действительно, все существа, живущие на солнце — коза, стоящая на остроконечном утесе, лошадь, которая носится по равнине, собака, резвящаяся рядом со своим гос-

подином, птица, купающаяся в свете — все они дышат радостью, счастьем; они приветствуют день танцами и восторженными криками. И в косуле, кричащей под высокими деревьями, на зеленеющем пастбище, есть что-то такое же поэтичное, как и любимое ее жилище; в кабане есть что-то такое же грубое, угрюмое, как чаша, в которую он забирается; в орле — гордое, смелое, как его отвесные скалы; во льве — величественное, как грандиозные своды его пещеры; но волк, лисица, куница ищут мрак; страх сопровождает их; это походит на раскаяние, на угрызения совести.

Я раздумывал об этом и чувствовал уже, как свежий ветер дул мне в лицо — мы подходили к выходу из ущелья, — как вдруг на скале в ста футах над нами мелькнул красноватый отблеск, осветивший пурпуровым светом темную зелень елей и отразившийся в гирляндах инея.

— Ага! — тихо проговорил Спервер, — мы поймали старуху.

Сердце у меня забилося; мы шли, тесно прижавшись друг к другу.

Собака глухо ворчала.

— Не может она убежать? — совсем тихо спросил я.

— Нет; она попала, как крыса в крысоловку. Из «Котла Большого Ревуна» нет другого выхода, а скалы вокруг имеют двести футов в высоту. Ага! Я поймал тебя, старая злодейка.

Он сошел в ледяную воду и дал мне держать своего коня. Дрожь охватила меня. В окружавшем нас безмолвии я услышал звук заряжаемого карабина. Этот легкий пронзительный шум ударил меня по нервам.

— Спервер, что ты хочешь делать?

— Не бойся; я только попугаю ее.

— Отлично! Но не надо крови! Помни, что я сказал тебе: «Пуля, которая сразит ее, убьет сразу и графа».

— Будь спокоен.

Он удалился, не слушая меня. Я услышал шлепанье его ног по воде, потом увидел его высокую фигуру у выхода из ущелья, черную на синеватом фоне. Минут пять он стоял неподвижно. Я стоял, наклонясь и внимательно смотря на

него. Он тихонько подходил ко мне. Когда он обернулся, я был в трех шагах от него.

— Тс! — сказал он с таинственным видом. — Смотри.

В расщелине скалы я увидел большой костер: огонь подымался золотыми спиралями к своду пещеры, а перед костром на корточках сидел человек, по костюму которого я узнал барона Циммер-Блудерика.

Он сидел неподвижно, опустив голову на руки. Сзади него лежал какой-то темный предмет; еще дальше почти терявшаяся во тьме лошадь смотрела на нас пристальным взглядом, подняв уши, широко раскрыв ноздри.

Я остановился, пораженный.

Каким образом очутился барон Циммер в такое время в этом уединенном месте?.. Зачем он здесь?.. Не заблудился ли он?..

Самые противоречивые предположения мелькали в моем уме; я не знал, на чем остановиться. Вдруг лошадь барона заржала.

При этом звуке ее хозяин поднял голову.

— Что с тобой, Доннер?— спросил он.

Потом он, в свою очередь, взглянул в нашу сторону широко раскрытыми глазами.

Это бледное лицо с резкими чертами, с тонкими губами, с густыми, сросшимися черными бровями, с глубокой перпендикулярной морщиной, пересекавшей лоб, возбудило бы во мне во всякое другое время чувство восхищения; но теперь мной овладела какая-то неописуемая тревога; я был полон беспокойства.

— Кто тут? — вдруг вскрикнул молодой человек.

— Я, господин барон, — ответил Гедеон, подходя к нему, — я— Спервер, рейткнехт графа Нидека...

Молния промелькнула в глазах барона, но ни один мускул не дрогнул. Он встал и накинул на плечи шубу. Я взял под уздцы лошадей и позвал собаку, которая вдруг начала печально выть.

На кого не нападает иногда суеверный страх? Мне стало страшно от жалобного воя Лизверле; леденящая дрожь пробежала по всему моему телу.

Спервер и барон стояли в пятидесяти шагах друг от друга: первый, неподвижный, с карабином на плече, стоял посреди расщелины; второй — на площадке перед пещерой, высоко подняв голову, и гордым, властным взглядом смотрел на нас.

— Чего вы хотите? — спросил молодой человек задиристым тоном.

— Мы ищем одну женщину, — ответил старый браконьер, — женщину, которая ежегодно бродит вокруг Нидека; у нас есть приказание арестовать ее.

— Украла она что-нибудь?

— Нет.

— Убила кого-нибудь?

— Нет, господин барон.

— Так чего же вам надо? По какому праву преследуете вы ее?

Спервер вытянулся во весь рост и, устремив свои серые глаза на барона, проговорил со странной улыбкой:

— А по какому праву вы взяли ее? Ведь она там... я вижу ее в глубине пещеры. С какой стати вы вмешиваетесь в наши дела? Разве вы не знаете, что мы здесь на своей земле и имеем право судить все уголовные и гражданские дела?

Молодой человек побледнел.

— Я не обязал давать вам отчет, — грубым тоном проговорил он.

— Берегитесь, — сказал Спервер. — Я пришел к вам с мирными, дружелюбными намерениями. Я действую от имени господина Иери-Ганса, я в своем праве, а вы дурно отвечаете мне.

— Ваше право! — с горькой улыбкой сказал молодой человек. — Не говорите о своем праве — вы принудите меня говорить о моем...

— Ну, так говорите! — крикнул старый браконьер, большой нос которого шевелился от гнева.

— Нет, — ответил барон, — я ничего не скажу, и вы не войдете сюда.

— Это мы посмотрим, — сказал Спервер, направляясь к пещере.

Молодой человек вынул охотничий нож. Видя это, я хотел броситься между ними. К несчастью, собака, которую я держал на привязи, вырвалась и опрокинула меня на землю. Я считал барона погибшим. Но в ту же минуту из глубины пещеры раздался дикий крик, и, поднявшись, я увидел перед костром старуху. Одежда ее была вся в лохмотьях; голова откинута назад, волосы развевались по плечам. Она подымала свои длинные, худые руки к небу и выпускала зловещий вой, похожий на жалобный вой волка в холодные зимние ночи, когда он корчится от холода.

Никогда в жизни я не видел ничего ужаснее. Спервер как бы окаменел, стоя неподвижно, с устремленными глазами, с открытым ртом. Сама собака остановилась на несколько секунд при этом неожиданном зрелище; но вдруг она согнула ошетилившуюся спину и бросилась вперед с нетерпеливым ворчанием. Я вздрогнул. Площадка пещеры подымалась на восемь-десять футов от земли; не будь ничего, Лиэверлэ был бы на ней одним скачком. Я до сих пор слышу, как он перескакивает через покрытые инеем кусты, вижу, как барон становится перед старухой с раздирающим душу криком:

— Мать моя!

Собака делает последний прыжок; Спервер с быстротой молнии прицеливается, и Лиэверле падает мертвым у ног молодого человека.

Все это произошло в одну секунду. Пропасть осветилась; отдаленные раскаты эха передавали звук выстрела в своих бесконечных глубинах. Безмолвие, казалось, возросло, как мрак после молнии.

Когда дым от выстрела рассеялся, я увидел Лиэверле, распростертого у подножия скалы, и старуху в обмороке, на руках у молодого человека. Спервер, весь бледный, смотрел мрачным взглядом на барона, опустив дуло карабина к земле; лицо у него подергивалось, глаза были полузакрыты от негодования.

— Господин Блудерик, — сказал он, протянув руку к пещере, — я убил моего лучшего друга, чтобы спасти эту женщину... вашу мать!.. Возблагодарите Бога, что ее судьба свя-



зана с судьбой графа... Уведите ее! Уведите ее!.. И чтобы она не возвращалась больше... потому что я не могу отвечать за старика Спервера.

Он бросил взгляд на собаку.

— Мой бедный Лизверле! — воскликнул он раздирающим душу голосом. — Так вот что ожидало меня здесь... Идем, Фриц... бежим... Я способен причинить большое несчастье.

Он схватил Фокса за гриву и хотел сесть в седло, но вдруг не выдержал и, опустив голову на плечо лошади, зарыдал, как ребенок.

ХІІІ

Спервер уехал и увез Лизверле, завернув его в свой плащ. Я отказался ехать с ним: мой долг заставлял меня оставаться со старухой; я не мог покинуть несчастную, иначе совесть замучила бы меня.

К тому же, должен сказать, мне было интересно посмотреть поближе на это странное существо. Поэтому, лишь только Спервер исчез во мраке ущелья, я уже шел по тропинке в пещеру.

Тут меня ожидало странное зрелище.

На большом плаще из белого меха лежала старуха в своем пурпуровом платье, с руками, судорожно сжатыми на груди, с золотой стрелой в седых волосах.

Образ этой женщины не изгладится из моей памяти, хотя бы я прожил тысячу лет. Страшно было видеть эту голову ястреба, содрогавшуюся при последних вспышках жизни, с неподвижными глазами, полуоткрытым ртом. Такова должна была быть ужасная королева Фредегонда в свой последний час.

Барон, стоя на коленях рядом с нею, старался вернуть ее к жизни; но я с первого же взгляда увидел, что всякая надежда потеряна. Не без чувства глубокого сострадания я нагнулся, чтобы взять ее руку.

— Не трогайте ее, — крикнул молодой человек раздраженным тоном, — я запрещаю вам это!

— Я — доктор, господин барон.

Он несколько минут молча смотрел на меня; потом поднялся с колен.

— Простите меня, сударь, — тихо проговорил он, — простите!

Он сильно побледнел; губы у него дрожали.

Через минуту он спросил:

— Что вы думаете?

— Все кончено... Она умерла.

Не отвечая ни слова, он сел на большой камень, опустил голову на руки, облокотился и сидел, как убитый, устремив вдаль неподвижный взгляд.

Я присел на корточки к огню, смотря, как пламя ползло по своду пещеры и бросало медный красный отблеск на строгое лицо старухи.

Так просидели мы с час, неподвижные, как статуи. Вдруг барон поднял голову и сказал:

— Сударь, все это смущает меня!.. Вот моя мать... в продолжение двадцати шести лет я думал, что знаю ее... и вот целый мир тайн и ужаса открывается передо мною!.. Вы доктор... видели вы что-нибудь ужаснее этого?

— Господин барон, — ответил я, — граф Нидек страдает болезнью, замечательно схожей по характеру с болезнью вашей матушки. Если вы доверитесь мне настолько, что сообщите мне факты, свидетелем которых вы должны были быть, я охотно расскажу вам то, что сам знаю, потому что этот обмен может дать мне возможность спасти моего больного.

— Охотно, сударь, — сказал барон.

И он без всякого колебания рассказал мне, что баронесса Блудерик, принадлежавшая к одной из самых знатных фамилий Саксонии, каждую осень отправлялась в Испанию в сопровождении старого слуги, ее единственного поверенного. Этот слуга, умирая, пожелал видеть сына своего бывшего господина и в последний час, мучимый, может быть, угрызениями совести, рассказал молодому человеку, что путешествие в Испанию было для его матери только предло-

гом для экскурсий в Шварцвальд, цели которых он не знал, но, вероятно, это было что-то ужасное, потому что баронесса возвращалась истощенная, в лохмотьях, почти умирающая и что ей нужно было несколько недель отдыха, чтобы оправиться от странной усталости этих немногих дней.

Вот что совершенно просто рассказал молодому барону старый слуга, думая, что таким образом он исполняет свой долг.

Сын, желая во что бы то ни стало узнать истину, решил сам проверить непонятный факт и поехал за матерью сначала в Баден. Потом он увидел, как она углубилась в ущелья Шварцвальда, и пошел за нею шаг за шагом. Следы, замеченные Себальтом на горе, были следы его ног.

После признания барона я счел себя не вправе утаить странное влияние, которое производило появление старухи на состояние здоровья графа, а также и другие подробности этой драмы.

Мы оба были совершенно поражены совпадением фактов, таинственной притягательной силой, которую имели друг над другом эти два существа, незнакомые между собой, трагическим действием, которое они изображали без своего ведома; поражало нас и то, что старуха так хорошо знала замок, который никогда не видала раньше, самые потайные ходы его; костюм, который она надевала в таких случаях, мог быть взят только из какого-нибудь таинственного убежища, открытого ею посредством ясновидения. В конце концов мы согласились, что все наше существование полно ужасов и что тайна смерти, может быть, наименьшая из тех, которые ведомы только Богу.

Ночной мрак рассеивался. Далеко, очень далеко сова возвещала удаление тьмы странным, как бы выходящим из горлышка бутылки, голосом. Вскоре в глубине ущелья слышалось лошадиное ржание. При первых лучах дневного света мы увидели сани, которыми правил слуга барона. В санях лежала солома и была приготовлена постель, на которую положили старуху.

Я сел на свою лошадь, которая, казалось, была не прочь поразмять ноги, так как простояла на льду половину ночи.

Я проводил сани до выхода из ущелья; потом мы раскланялись с серьезным видом, как подобает важному барину и горожанину.

Они повернули налево, к Гиршланду, я направился к башням замка.

В девять часов я был у графини Одиль и рассказал ей обо всем случившемся.

Потом я отправился к графу и нашел его в очень удовлетворительном состоянии. Он еще испытывал большую слабость, вполне понятную после перенесенных им страшных припадков, но пришел в себя, и лихорадка совершенно покинула его с вечера.

Дело шло к близкому выздоровлению.

Несколько дней спустя я, видя, что старый граф совсем поправился, хотел вернуться в Фрейбург, но он так настойчиво просил меня поселиться в Нидеке и предложил мне такие выгодные во всех отношениях условия, что мне было невозможно отказаться от его предложения.

Долго я буду помнить первую охоту на кабана, в которой я имел честь участвовать вместе с графом, и в особенности торжественное возвращение при свете факелов после того, как мы охотились двенадцать часов в снегах Шварцвальда, не покидая стремян.

Я поужинал и подымался в башню Гюга, изнемогая от усталости. Проходя мимо комнаты Спервера, дверь в которую была полуоткрыта, я услышал веселые восклицания. Я остановился и увидел чрезвычайно приятное зрелище: вокруг массивного дубового стола собрались человек двадцать в веселом настроении духа. Две железные лампы, спускавшиеся с потолка, освещали все эти здоровые, четырехугольные, веселые лица.

Они чокались.

Тут был Спервер с костлявым лбом, мокрыми усами, блестящими глазами, с седыми, всклокоченными волосами. Направо от него сидела Мария Лагут, налево Кнапвурст. На загорелых щеках Спервера играл легкий румянец; он поднял античный кубок из чеканного серебра, почерневший от времени; через плечо у него проходила перевязь с боль-

шой бляхой — он, по обыкновению, был в охотничьем костюме.

Приятно было смотреть на его простое, веселое лицо.

Щеки Марии Лагут горели пламенем; ее большой тюлевый чепец, казалось, готов был улететь. Она смеялась и болтала то с одним, то с другим из присутствовавших.

Что касается Кнапвурста, то, сидя в кресле, — причем голова его приходилась на высоте руки Спервера, — он казался какой-то огромной тыквой. Потом шел Тоби Оффенлох, словно вымазанный подонками вина, так он был красен; парик его висел на стуле; деревянная нога лежала про запас под столом. Дальше виднелась длинная, меланхоличная фигура Себальта; он тихо посмеивался, смотря на дно своего стакана.

Были тут также слуги и служанки — весь тот маленький мир, который живет и благоденствует вокруг знатного дома, как мох, плющ и вьюнки вокруг дуба.

Лампы лили на всех свой прекрасный янтарный свет, оставляя в тени старые серые стены, на которых извивались золотыми кругами трубы и охотничьи рожки старого браконьера.

Нельзя себе представить что-либо оригинальнее этой картины.

Своды пели.

Спервер, как я уже сказал, поднял кубок; он затянул песню бургграфа Гаттона Черного:

— Я — король этих гор...

Красная роса вина дрожала на каждом волоске его усов. При виде меня он остановился и протянул мне руку.

— Фриц, тебя не хватало нам! — проговорил он. — Давно уже я не чувствовал себя таким счастливым, как сегодня вечером. Добро пожаловать.

Я с удивлением взглянул на него: со смерти Лизверле я не видал улыбки на его лице.

— Мы празднуем выздоровление его сиятельства, а Кнапвурст рассказывает нам истории, — прибавил он серьезным тоном.

Все обернулись.

Меня встретили самыми радостными восклицаниями.

Себальт подхватил меня, усадил подле Марии Лагут и поставил передо мной большой стакан из божьего хрустала, прежде чем я успел прийти в себя.

В старой зале, словно жужжание пчел, слышались взрывы хохота. Спервер обнял меня левой рукой за шею, высоко поднял бокал и с суровым выражением лица, какое всегда бывает у честного, подвыпившего человека, кричал:

— Вот мой сын!.. Он и я... Я и он... До смерти!.. За здоровье доктора Фрица.

Кнапвурст, стоя на перекладине спинки кресла, наклонился ко мне и протягивал стакан. Мария Лагут размахивала большими крыльями своего головного убора; Себальт, стоя перед своим стулом, высокий и худой, как привидение, повторял: «За здоровье доктора Фрица!» — а брызги пены струились из его кубка и рассыпались на каменном полу.

Наступила минута молчания. Все пили; потом все сразу с шумом поставили стаканы на стол.

— Bravo! — крикнул Спервер.

Потом он обернулся ко мне.

— Фриц, — сказал он, — мы уже выпили за здоровье графа и графини Одиль. Ты должен также выпить.

Мне пришлось два раза выпить кубок под устремленными на меня взглядами всех присутствовавших. Тут и я, в свою очередь, стал серьезным и все предметы казались мне светлыми; из мрака выделялись какие-то фигуры и подходили, чтобы поближе посмотреть на меня; тут были и старые, и молодые, и красивые, и некрасивые; но все казались мне добрыми, радушными и нежными. Однако, мои глаза притягивали с конца залы более молодых и мы обменивались долгими взглядами, полными сочувствия.

Спервер продолжал смеяться и напевать что-то. Вдруг он положил руку на горб карлика.

— Молчать! — сказал он. — Вот заговорит Кнапвурст, наш архивариус... Видите, вот этот горб — это эхо старинного замка Нидек.

Маленький горбун вместо того, чтобы рассердиться на такой комплимент, с нежностью взглянул на Спервера и

сказал:

— А ты, Спервер, один из тех старых рейтаров, историю которых я рассказывал вам... Да, у тебя руки, усы и сердце старинного рейтара! Если бы открылось окно и один из них протянул бы руку во мраке, что сказал бы ты?

— Я пожал бы ему руку и сказал: «Товарищ, садись с нами. Вино так же хорошо и девушки так же красивы, как и во времена Гюга».

И Спервер показал на блестящую молодежь, смеявшуюся вокруг стола.

Очень хороши были девушки в Нидеке: одни из них краснели от радости, другие медленно подымали белокурые ресницы, скрывавшие взгляд лазурных глаз — и я удивлялся, что до сих пор не замечал этих белых роз, распустившихся на башенках старого замка.

— Молчать! — во второй раз крикнул Спервер. — Наш друг Кнапвурст повторит легенду, которую только что рассказывал нам.

— Почему не другую? — сказал горбун.

— Эта мне нравится.

— Я знаю лучше.

— Кнапвурст! — сказал Спервер, с важным видом подымая палец. — У меня есть основание послушать ту же самую; сократи ее, если хочешь. Она говорит очень многое. А ты, Фриц, слушай.

Карлик, полупьяный, положил оба локтя на стол и, подперши щеки кулаками, вытаращил глаза и закричал пронзительным голосом:

— Ну, так вот! Бернард Гертцог рассказывает, что бургграф Гюг, прозванный Волком, до восьмидесяти двух лет не расставался со своими доспехами, хотя к этому времени он уже еле дышал.

Перед смертью он призвал своего капеллана, Отто Бурлака, своего старшего сына Гюга, своего второго сына Бартольда и свою дочь Берту Рыжую, жену одного саксонского вождя, Блудерика, и сказал им:

— Ваша мать Волчица дала мне свои когти... Ее кровь смешалась с моей... Она будет возрождаться в вас от века до

века и плакать в снегах Шварцвальда. Одни будут говорить: «Это плачет холодный ветер!» Другие: «Это сова...» Но это будет ваша кровь, моя, кровь Волчицы, которая заставила меня задушить Гедвигу, мою первую жену перед Богом и Святою Церковью... Да, она умерла от моей руки.. Да будет проклята Волчица, потому что грехи отцов, — как сказано в Писании — взыщутся с детей, пока не свершится правосудие.

И старый Гюг умер.

И с того времени ветер плачет, сова кричит, а путешественники, бродящие ночью, не знают, что это плачет кровь Волчицы... которая возрождается, говорит Гертцог, и будет возрождаться из века в век до тех пор, пока первая жена Гюга, Гедвига, не появится под видом ангела в Нидеке, чтобы утешить и простить.

Спервер встал, снял одну из ламп и спросил ключи от библиотеки у пораженного Кнапвурста.

Он сделал мне знак идти за ним.

Мы поспешно прошли по большой, мрачной галерее, потом по фехтовальной зале и вскоре зала, где хранились архивы, показалась в конце громадного коридора.

Шум умолк; замок казался пустынным.

По временам я поворачивал голову и видел, как наши две тени, продолжаясь до бесконечности, скользили, словно призраки, по высоким стенам и извивались в причудливых судорогах.

Я был взволнован. Мне было страшно.

Спервер быстро открыл старую дубовую дверь и, высоко подняв факел, с всклокоченными волосами, бледным лицом, первым вошел в залу. Подойдя к портрету Гедвиги, сходство которой с молодой графиней поразило меня, когда я в первый раз был в библиотеке, он остановился и сказал с торжественным видом:

— Вот та, которая должна была вернуться, чтобы утешить и простить!.. И она вернулась!.. В настоящую минуту она внизу, у старика. Смотри, Фриц, узнаешь ты ее?.. Это Одиль.

Потом он повернулся к портрету второй жены Гюга:

— А это — Гульдина-Волчица, — сказал он. — В продолжение тысячи лет она плакала в ущельях Шварцвальда; она причина смерти моего бедного Лизверле; но с этого времени графы Нидек могут спокойно спать, потому что правосудие совершилось и добрый ангел семьи вернулся!



ПРИМЕЧАНИЯ

Извлечение из записей судебной канцелярии Парламента Доля

Перевод выполнен по первоизданию: *Arrest memorable de la Cour de parlement de Doel, donné à l'encontre de Gilles Garnier, Lyonnais, pour avoir en forme de loup garou dévoré plusieurs enfans, & commis autres crimes: enrichy d'aucuns points recueillis de divers auteurs pour esclairir la matiere de telle transformation* (Lyon, 1574).

Дело Жилия Гарнье — один из самых известных французских процессов над вервольфами. В письме, вошедшем в указанное выше издание, ученый священник Даниэль д'Оже (? – 1595) утверждал, что Гарнье (которого он именует «ликофилом») был не в состоянии прокормить семью. В отчаянии он бродил по лесам и пустошам, где «встретил призрака в образе человеческой фигуры, каковой пообещал ему всевозможные чудеса, в том числе научить его обращаться по желанию в волка, льва или леопарда; но, поскольку волк — зверь более распространенный, чем остальные названные животные, он предпочел обращаться в волка, что он и делал, получив для этой цели мазь».

Истинное Известие, описывающее ужасающую жизнь и смерть некоего Петера Штуббе

Перевод выполнен по первоизданию: *A True Discourse. Declaring the Damnable Life and Death of One Stubbe Peeter, a Most Wicked Sorcerer* (London, 1590, экземпляр Британской библиотеки).

Редчайший лондонский памфлет 1590 г. — перевод с утраченного немецкого оригинала, сохранившийся всего в двух экземплярах — был впервые «открыт» Монтегю Саммерсом (1880-1948) и перепечатан в его книге *The Werewolf* (1933). Лондонское издание надолго стало главным англоязычным источником сведений о вервольфах и существенно повлияло на представления о них в эпоху позднего Ренессанса.

О самом Петере Штуббе (также Stumpp, Stube, Stübbe, Stumpf и т. д.) известно немного. Считается, что он был состоятельным вдовым фермером из деревни Эшпрат близ Бедбурга; на момент казни ему было, видимо, не менее 45 лет.

Процесс Штуббе стал первым германским судилищем над оборотнем-вервольфом; памфлеты о нем, напечатанные в Германии, Дании, Голландии и Англии, разошлись по всей Европе.

Лондонский памфлет является наиболее подробным современным отчетом об этом деле — настолько необычным, что некоторые исследователи высказывали даже сомнения в исторической достоверности процесса, тем более что судебные документы были утрачены. Однако о Штуббе упоминают современники (дневник кельнского пастора Г. Вайсберга и отчет голландского хроникера А. ван Бушела). Еще в конце XVII в. в сочинении «Диалоги и беседы о ликантропии или о людях в облики волков» (Франкфурт, 1680) Т. Лауденс, при описании случая Штуббе, ссылаясь на «судебную книгу» Бедбурга.

Как считает исследователь В. де Блекур, в рассказах о деле Штуббе отразились «истории, распространявшиеся из восточной Франции, в особенности Франш-Конте». Вполне очевидно в памфлете и влияние традиционных поверий, касающихся магов и некромантов, вступающих в пакт с дьяволом, в особенности Иоганна Фауста (суммировавшая эти легенды «История о докторе Фаусте» И. Шписа вышла в свет всего за два года до процесса, в 1587 г.). Таков, к примеру, срок, отведенный на дьявольские проделки Штуббе — 25 лет (у Фауста — 24 года).

Существует мнение, что Штуббе (предположительно — протестант) был жертвой локального религиозного конфликта в Кельнском курфюршестве (т. наз. «Кельнская война» 1583-88 гг.) и победивших католиков, затеявших политический по сути процесс с целью разоблачить «сатанинскую сущность» протестантизма. Некоторые считают Штуббе невинной жертвой мракобесов от религии.

Однако — отбрасывая всевозможные вымыслы и фантастические подробности — логичней всего предположить, что он являлся серийным убийцей, страдавшим от редкого психиатрического синдрома, именуемого в современной науке «клинической ликантропией».

Обращаясь к области курьезов, следует добавить, что по мнению американских антропологов К. Питтля и Н. Хопкинса, упоминаемая в рассказах о Штуббе любовница «вервольфа» Катарина Тромпин могла быть предком президента США Д. Трампа.

Д. Э. Райх. Вервольфы Анспаха

Перевод выполнен по сетевой публикации на сайте Little Fiction. Д. Э. Райх (J. E. Reich) — нью-йоркская писательница, дочь профессора Ратгерского университета и специалиста по межд. отношениям С. Райха. Публиковала рассказы и статьи в печатной и сетевой периодике; автор романа об А. Модильяни *The Demon Room*.

Рассказ частично основан на истории Петера Штуббе, но главным образом — на истории вервольфа, терроризировавшего в 1685 г. городок Анспх (ныне Ансбах) в Баварии. Жители верили, что в вервольфа перевоплотился недавно умерший жестокий бургомистр Михаэль Лейхт. После того, как охотники наконец выследили подозреваемого волка, загнали его в колодец и убили, тушу зверя, одетую в мужскую одежду, пронесли по городу, а затем выставили на виселице на всеобщее обозрение (не позабыв надеть на волка маску, парик и фальшивую бороду, делавшие его похожим на бывшего бургомистра).

В оригинальном тексте рассказа встречаются некоторые анахронизмы, напр. «гильотина», «баскетбол», которых мы старались избежать в переводе. В качестве иллюстрации приведена немецкая листовка с изображением вервольфа из Анспаха (ок. 1685).

Эркман-Шатриан. Гюг-Волк

Впервые с продолжениями в журн. *Le Constitutionnel* (1859, май). Анонимный перевод публикуется по изд.: *Признания кларнета. Гюг-Волк. (Собрание сочинений)*. СПб.: П. П. Сойкин, [1915]. Орфография, пунктуация и некоторые устаревшие обороты приближены к современным нормам. Издательство выражает глубокую благодарность А. Степанову за предоставленный скан издания.

Эркман-Шатриан — литературное имя французского писательского тандема Э. Эрмана (1822-1899) и А. Шатриана (1826-1890), авторов многочисленных исторических романов, повествований из народной жизни, пьес, фантастических рассказов и т.д. Многие произведения Эрмана-Шатриана, весьма популярные в доре-

волюционной России, носят патриотическо-националистический характер.

Фантастические сочинения Эркмана-Шатриана заслужили высокую оценку М. Р. Джеймса и Г. Ф. Лавкрафта; в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» последний писал: «Соавторы Эркман-Шатриан обогатили французскую литературу многочисленными призрачными фантазиями наподобие “Гюга-Волка”, где история о фамильном проклятии разворачивается в традиционной обстановке готического замка. Вызывающая дрожь полуночная атмосфера изображена с поразительной силой, несмотря на склонность авторов к объяснениям в духе естественных причин или научных чудес».

Оглавление

Извлечение из записей судебной канцелярии парламента <i>Доля. Пер. С. Шаргородского</i>	5
Истинное известие, описывающее ужасающую жизнь и смерть некоего Петера Штуббе. <i>Пер. С. Шаргородского</i>	9
Д. Э. Райх. Вервольфы Анспаха. <i>Пер. В. Барсукова</i>	23
Эркман-Шатриан. Гюг-Волк	33
Примечания	148

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.